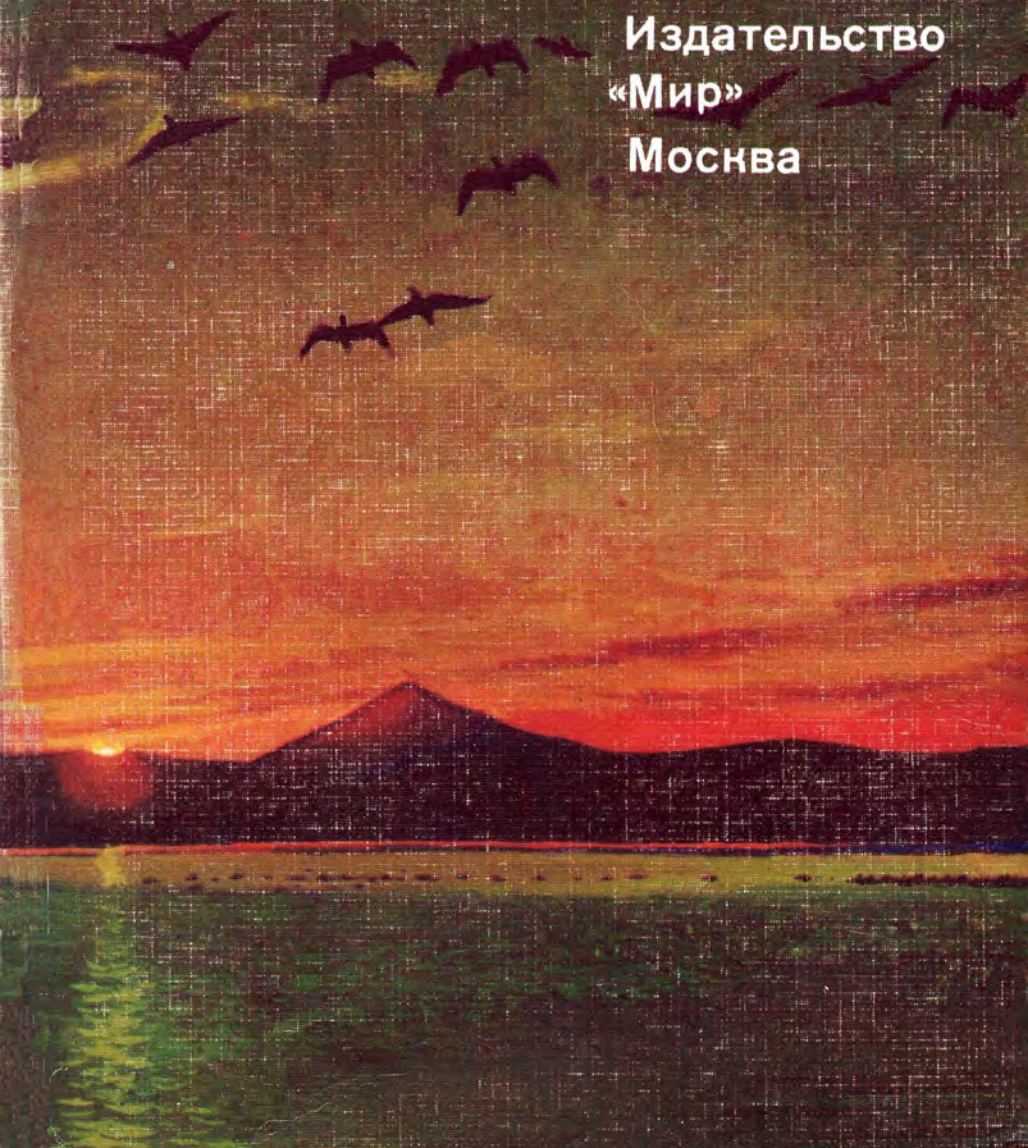


Олдо
Леопольд



КАЛЕНДАРЬ ПЕСЧАНОГО ГРАФСТВА

Издательство
«Мир»
Москва



Содержание

Предисловие редактора перевода 5
Из предисловия к расширенному изданию 9

Часть I

КАЛЕНДАРЬ ПЕСЧАНОГО ГРАФСТВА

Предисловие 13

Январь

Январская оттепель 15

Февраль

Крепкий дуб 17

Март

Возвращение гусей 26

Апрель

Половодье 30

Крупка 32

Дуб крупноплодный 33

Танцы в небе 36

Май

Возвращение из Аргентины 29

Июнь

Рыболовная идиллия на Ольховой протоке 41

Июль

Великие владения 43

День рождения прерии 46

Август

Зеленое чудо 51

Сентябрь

Поющая роща 52

Октябрь

Дымное золото 53

Слишком рано 57

Красные фонари 60

Ноябрь

Будь я ветром 63

С топором в руках 64

Могучая крепость 68

Декабрь

Домашние пределы 72

Сосны под снегом 74

65290 79

Часть II

КРАСОТА ЛАНДШАФТА

Висконсин

Реквием по болоту 84

Песчаные графства 89

Одиссея 91

О памятнике голубю 94
Фламбо 97
Умерщвление 100
Иллинойс и Айова
По Иллинойсу на автобусе 100
Дергающиеся красные лапы 102
Аризона и Нью-Мексико
На Вершине 104
Если думать, как гора 109
Эскудилья 112
Чиуауа и Сонора
Гуакамайо 116
Зеленые лагуны 118
Песня Гавилана 124
Орегон и Юта
Костер набирает силу 129
Манитоба
Кландебой 132

Часть III

ВКУС

К ПРИРОДЕ

Природа 137

Досуг человека 140

Круговая река 145

Естественная история 155

Дикая природа в американской культуре 160

Оленья просека 168

Гусиная музыка 170

Часть IV

ВЫВОДЫ

Этика природы

Развитие этики 176

Понятие о сообществе 177

Экологическая совесть 180

Суррогаты этики природы 182

Пирамида земли 186

Здоровье земли и раскол А—Б 191

Перспективы 193

Дикая природа 195

Остатки 196

Дикая природа для отдыха и развлечений 199

Дикая природа для науки 201

Дикая природа для диких животных 204

Защитники дикой природы 205

Эстетика сохранения природы 206



www.dmitryzhitenyov.com

ALDO LEOPOLD

A SAND COUNTY ALMANAC

WITH ESSAYS ON CONSERVATION
FROM ROUND RIVER

Illustrated by Charles W. Schwartz

BALLANTINE BOOKS • NEW YORK



Олдо
Леопольд

КАЛЕНДАРЬ ПЕСЧАНОГО ГРАФСТВА

Перевод с английского
И. Г. ГУРОВОЙ

под редакцией
д-ра биол. наук, проф.
А. Г. БАННИКОВА

Издательство «Мир»
Москва 1980

Леопольд О.

Л47 Календарь песчаного графства. Пер. с англ. И. Г. Гуровой / Под ред. и с предисл. А. Г. Банникова.— М.: Мир, 1980.

216 с. с ил.

Поэтические очерки известного американского эколога о жизни природы, о богатстве и бедности земли, о земле как едином, целостном механизме, о месте человека в сложной и хрупкой системе природных связей.

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.

Л $\frac{21002-474}{041(01)-80}$ инф. письмо—80 2001050000 57 (069)

Редакция научно-популярной и научно-фантастической литературы

Предисловие редактора перевода

Пораженные результатами невиданного расхищения природных богатств страны, ученые и общественные деятели США уже в конце XIX — начале XX столетия возглавили движение за охрану природы. Именно в это время стали возникать различные общества по охране диких животных, был создан первый в мире национальный парк — Йеллоустонский, приняты законы, регулирующие использование государственных земель, и введены ограничения на продажу их частным лицам, объявлены охраняемыми некоторые земли водосборных бассейнов, впервые проведены учеты природных ресурсов и т. д. Начало складываться общественное мнение о необходимости всемерной борьбы с хищниками, которых считали безоговорочно вредными. Однако представление о рациональном использовании природных ресурсов лишь зарождалось. Под охраной природы понимали лишь пассивную защиту отдельных видов животных и растений или уникальных уголков дикой природы. О взаимосвязи природных процессов и явлений, комплексном подходе к охране природы на основе экологического изучения биотических сообществ еще не было и речи.

В этих условиях появились первые работы Олдо Леопольда — молодого помощника окружного лесничего сначала в штате Нью-Мексико, а затем Аризона.

Олдо Леопольд родился в 1887 году в Берлингтоне (штат Айова), окончил школу в Лоренсвилле и Йельский университет, получив в 1909 году специальность лесничего.

Вдумчивый и тонкий наблюдатель, страстный охотник, влюбленный в родную природу, О. Леопольд быстро включился в ряды активных борцов за охрану природы. В 1924 году он принял участие в организации общества охраны дикой природы, а с 1935 года уже возглавлял его. По его инициативе был создан первый в стране национальный лес, получивший название Хила. Леопольд активно участвовал в работе «Утиной комиссии», которая провела изучение мест гнездования водоплавающих птиц и пришла к выводу,

что для сохранения этих птиц необходима охрана их местобитаний. В 1929 году такой вывод был откровенным, ибо законы тех времен охраняли лишь животных, но не их местобитания.

Уже в первых работах Леопольда ясно виден качественно новый подход к охране природы. В своих статьях по лесоводству он рассматривал охрану леса не только как охрану растущих деревьев, но как охрану природного комплекса в целом — среды обитания зверей, птиц и множества других живых организмов. Именно такой подход позволил Леопольду выдвинуть понятие «емкость угодий». Разрабатывая это положение, ученый сформулировал правило интерсперсии, или «эффекта опушки». Сущность этого правила состоит в том, что при взаимопроникновении угодий (интерсперсии) их емкость резко повышается. Наглядным примером служит опушка, где происходит концентрация жизни. Это правило, выраженное Леопольдом математически, стало одним из основных в практике современного охотоведения.

Широко мыслящий знаток лесного хозяйства Олдо Леопольд вскоре получил заслуженное признание и был назначен заместителем директора Лаборатории лесной продукции штата Висконсин, будучи одновременно консультантом Службы леса нескольких штатов.

Однако предметом его особого интереса были сложные взаимосвязи факторов, влияющих на популяции диких лесных животных. Именно это привело Леопольда к изучению чернохвостых оленей в лесах Кайбабского плато. Там многие годы обитало стадо, состоящее приблизительно из 6 тысяч голов; популяция оленей находилась в полном равновесии со средой обитания. Но в 1906 году на Кайбабском плато была начата кампания по уничтожению крупных хищников с целью увеличить стадо оленей в интересах охотников. В течение нескольких лет волки, пумы, медведи и койоты были уничтожены почти полностью. В результате к 1924 году численность оленей возросла до 100 тысяч, то есть увеличилась в 16 раз. Это означало резкое превышение емкости угодий, что и привело к катастрофе. Олени начали гибнуть от голода: за шесть лет погибло более 80 тысяч голов. Истощенные трупы животных были красноречивым свидетельством безграмотного решения сложной экологической проблемы.

Изучив со своими помощниками возникшую ситуацию, Леопольд пришел к выводу, что для успешного сохранения промысловой дичи, в том числе оленей, необходимо знать емкость угодий. Только такой подход позволит обеспечить животным возможность активного размножения. Дичь — это своего рода урожай, который Природа взрастит, и взрастит обильно, если для этого будут обеспечены все необходимые условия.

О. Леопольд опубликовал ряд работ, в которых обосновал нормы изъятия из популяций копытных различных возрастных и половых групп, экологическую необходимость охраны хищных птиц и зверей, а также коснулся частных вопросов ведения охотничьего хозяйства и охраны дикой природы.

В 1929 году Леопольд впервые в истории науки начал читать в Висконсинском университете специальный курс лекций по охране дичи, а в 1933 году создал кафедру охотоведения, став, таким образом, основоположником охотоведения как науки. В том же году вышел его фундаментальный труд «Управление дичью» *, не потерявший своего значения и по сей день. Книга эта пронизана идеей о необходимости управлять популяциями диких животных путем воздействия на их структуру и среду обитания, то есть основной экологической идеей сегодняшнего дня.

В 1937 году под редакцией Леопольда начал выходить «Журнал управления дикими животными», посвященный вопросам охраны, использования и воспроизводства охотничьих животных. С первых же номеров это издание стало основным научным журналом в области охотоведения.

Трагическая смерть оборвала жизнь Олдо Леопольда в самом расцвете сил — он погиб в 1948 году при тушении лесного пожара на соседней ферме.

Предлагаемая советскому читателю книга признана классическим произведением по охране природы. Впервые изданная в 1949 году, уже после смерти автора, она переиздавалась десятки раз. Русский перевод выполнен с издания 1966 года, подготовленного к печати сыном автора, Л. Леопольдом, и объединяющего две ранее выходившие книги: «Календарь песчаного графства» и «Круговая река», откуда составители взяли несколько очерков. В результате первоначальный план книги, о котором О. Леопольд пишет в своем предисловии, претерпел ряд изменений. Это не строго научный труд, а подлинно художественное произведение, гимн природе, ее красоте и гармонии.

Глубокие мысли автора о природе, о задачах бережного отношения к ней человека, высказанные свыше трех десятилетий назад, и сегодня поражают своей актуальностью.

В самом деле, слова Леопольда о том, что «принцип сохранения дикой природы — беречь каждую часть механизма земли», что «каждая замена дикого животного или растения на домашнее, естественного водного потока на искусственный сопровождается

* Leopold A. Game Management. — New York, 1933.

соответствующими изменениями во всей циркуляционной системе земли» и что «мы не понимаем и не предвидим этих изменений, а замечаем их, только если последствия оказываются явно вредными», украсили бы любой современный труд по теории охраны природы. Не менее актуальна и мысль автора о том, что всякое вмешательство человека в природу подлежит оценке с точки зрения возможных последствий для общего биологического круговорота веществ.

Книга «Календарь песчаного графства» свидетельствует не только о глубоком экологическом мышлении автора, на десятилетия опередившем представления современников, но и о его большом таланте популяризатора, умеющего необычайно ярко и образно излагать свои взгляды.

Вместе с тем, отмечая достоинства книги и прогрессивные воззрения автора, мы не можем согласиться с некоторыми из них. Глубоко переживая разрушение природы, О. Леопольд усматривает причину создавшегося положения не в социальной сущности капиталистического общества, а в недостаточной экологической образованности людей, в отсутствии этики отношения к природе. Однако, если рассуждения автора о добровольном подчинении охотников-спортсменов этическому кодексу отношения к дичи имеют под собой известную реальную основу, поскольку спортсмен не связан с товарным хозяйством, то его мысли, высказанные в отношении других природных ресурсов, — это не что иное, как утопия, миф. Частное владение природными ресурсами и средствами производства, погоня за прибылью и жесточайшая конкуренция неизбежно влекут за собой стремление к неограниченному расхищению природных богатств. Оптимальное решение проблемы взаимоотношения природы и общества может быть достигнуто лишь при замене капиталистического строя социалистическим. Только в этом случае возможно создание новой этики отношения человека к природе.

Профессор А. Г. Банников

Из предисловия к расширенному изданию

«Календарь песчаного графства» был вчерне готов, когда Олдо Леопольд скончался. Его сын Л. Леопольд отредактировал этот материал и следил за его изданием в 1949 году. Позднее он подготовил для печати ряд прежде не публиковавшихся очерков и заметок, которые появились в 1953 году под заглавием «Круговая река».

Новая книга объединяет «Календарь песчаного графства» и восемь очерков из «Круговой реки». Расположение очерков немного изменено, а два из них объединены, чтобы избежать повторений и представить основные идеи Олдо Леопольда в едином контексте.

Хотя обе книги широко читались и цитировались, их основные положения потонули в шуме рекламы, восхваляющей достоинства «естественных природных красот». Создание красивых пейзажей вдоль шоссе имеет очень мало общего с той гармонией между человеком и землей, которую так хорошо знал Олдо Леопольд и которой он учил. Та же Америка, которая объявила сохранение природных красот общенациональной политикой, одновременно планирует постройку плотин в двух районах, имеющих огромную природную ценность. Конгресс рассматривает законопроект о постройке системы плотин в Большом Каньоне реки Колорадо, которые практически убьют живую реку и затопят значительные площади этого уникального уголка американской дикой природы.

Кроме того, проектируется постройка плотины для развития гидроэнергетических ресурсов Аляски в месте, где это приведет к затоплению гнездовий перелетных водоплавающих птиц Тихоокеанского побережья. Постройка плотины Рампарт в очень короткий срок уничтожит большинство уток, гусей и других птиц, которые из года в год на протяжении многих тысячелетий пролетали над Вашингтоном, Орегоном и Калифорнией. Когда Олдо Леопольд писал «Гусиную музыку», никто ничего подобного не мог и вообра-

зить, теперь же это стало реальной возможностью. Грустно и стыдно думать, что американцы, предлагающие этот план, соглашающиеся на него и его осуществляющие, будут защищать свои действия, ссылаясь на финансовые выгоды, тогда как тут экономика не должна быть решающим фактором, тем более, что можно найти другие — и вполне доступные — источники электроэнергии.

Нынешнее поколение, поколение внуков Олдо Леопольда, бунтует в университетских городках, устраивает демонстрации против социальных зол, трудится ради их устранения. Эта молодежь обретает зрелость, когда в борьбе за сохранение «дикой и свободной природы», которую Олдо Леопольд понимал так глубоко и защищал так красноречиво и мудро, наступает решающий момент.

Из всех зол, против которых выступает молодежь, тяжелое положение природы можно назвать самым критическим. Природа дикая и свободная гибнет из-за нашего безразличного отношения к земле. Есть ли лучший способ для борьбы против уничтожения природы, чем вручить молодежи эту книгу — эту страстную защиту этики земли?

Вашингтон, округ Колумбия
июль 1966 года

*Каролина Клагстон Леопольд
Луна Б. Леопольд*



Моей Эстелле

Часть I

**КАЛЕНДАРЬ
ПЕСЧАНОГО
ГРАФСТВА**



Предисловие

Есть люди, которые могут жить без дикой природы, и есть люди, которые не могут жить без дикой природы. Наброски эти — о радостях и трудностях одного из тех, кто не может.

Дикая природа, подобно ветру и солнечным закатам, воспринималась, как нечто само собой разумеющееся, пока прогресс не начал теснить и уничтожать ее. Теперь перед нами стоит вопрос, имеет ли смысл платить за еще более высокий «уровень жизни» гибелью дикой и свободной природы, ее животных и растений. Мы, меньшинство, предпочитаем летящих в небе гусей всем телевизионным программам мира, а возможность найти ранней весной синий цветок сон-травы — право для нас столь же неотъемлемое, как свобода речи.

Я согласен, что такие дары дикой природы мало что значили с человеческой точки зрения, пока техника не гарантировала нам сытного завтрака, а наука не развернула перед нами жизнь и происхождение диких существ во всем их драматизме. Таким образом, весь конфликт в конечном счете сводится к вопросу о степени вмешательства в жизнь природы. Мы, меньшинство, считаем, что начал действовать особый закон — закон снижения возвратных поступлений, — наши противники этого не считают.

Приходится шагать в ногу с событиями, и эти наброски — мои шаги. Они сгруппированы в три части.

В части I рассказывается о том, что видит и чем занимается моя семья в «хижине» — нашем воскресном убежище от избытка современности. На песчаных землях висконсинской фермы, сначала истощенных, а затем заброшенных нашим обществом, чей девиз — «больше и лучше», мы с помощью лопаты и топора пытаемся восстановить то, что утрачиваем за пределами нашей фермы.

Эти наброски, посвященные ферме, сгруппированы по временам года и слагаются в «Календарь песчаного графства».

Часть II — «Наброски там и сям» — рассказывает о случаях из моей жизни, которые мало-помалу и далеко не всегда безболезненно показали мне, что рота шагает не в ногу. Эти накопившиеся за сорок лет эпизоды, связанные с разными уголками нашего континента, дают достаточно полное представление о проблемах, объединяемых общим названием «сохранение дикой природы».

Часть III — «Выводы» — содержит более упорядоченное изложение ряда идей, с помощью которых мы, думающие иначе, утверждаем наше ипакомыслие. Вопросы, рассматриваемые в третьей части, могут по-настоящему заинтересовать только сочувственно настроенного читателя. Эти наброски, так сказать, объясняют роте, как вновь пойти в ногу.

Сохранение дикой природы остается пустым звуком потому, что оно несовместимо с нашим библейским представлением о земле. Мы не бережем землю, потому что рассматриваем ее как принадлежащее нам недвижимое имущество. Когда нам станет ясно, что она — сообщество, к которому принадлежим и мы сами, возможно, мы начнем пользоваться ею с любовью и уважением. Только при этом условии земля сможет выдержать натиск механизированного человека, и только при этом условии мы сможем пожать тот эстетический урожай, который она благодаря науке способна приносить, обогащая нашу культуру.

Понятие о земле, как о сообществе, составляет основу экологии, но любовь и уважение к земле принадлежат этике. О том, что земля обогащает культуру, известно с давних пор, но в последнее время этот факт часто предается забвению.

Собранные здесь наброски представляют собой попытку спаять воедино эти три идеи.

Разумеется, подобный взгляд на землю и людей не может избежать воздействия личного опыта и личных пристрастий, затемняющих и искажающих его. Но какова бы ни была истина, ясно одно: наше общество с его девизом «больше и лучше» в настоящее время, точно ипохондрик, настолько поглощено своим экономическим здоровьем, что уже не в силах оставаться здоровым. На этом этапе лучшее лекарство — немножко спокойного пренебрежения к изобилию материальных благ.

Возможно, такой переоценки ценностей удастся достичь, критически сопоставляя искусственный, прирученный мир вещей с естественным миром дикой и свободной природы.

ЯНВАРСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ

Каждую зиму вслед за свирепыми метелями однажды почью вдруг наступает оттепель и повсюду звенит капель. Она будит не только зверьков, уснувших с вечера, но и кое-кого из тех, кому положено спать всю зиму. Скунс, свернувшийся клубком в глубокой норе, прерывает зимнюю спячку, вылезает наружу в сырую мглу и отправляется бродить, волоча живот по снегу. Его след знаменует одно из самых первых датируемых событий в том цикле начал и исходов, которому мы дали название «год».

След этот как будто свидетельствует о равнодушии к житейским делам и заботам, столь важным в остальные три времени года. Цепочка влажных отпечатков тянется по прямой, словно оставивший их припряг свой фургон к звезде и бросил вожжи. Я иду вдоль них, стараясь определить настроение скунса, состояние его желудка и цель этой прогулки — если у нее есть цель.

Количество всевозможных отвлечений возрастает от января к июню в геометрической прогрессии. В январе либо идешь по следу скунса, либо высматриваешь окольцованных синиц, либо проверяешь, какие сосенки обвели молодые олени или какие убежища ондатр разрыла норка, и лишь изредка отвлечешься чем-нибудь, и то ненадолго. Январские наблюдения почти столь же просты и безмятежны, как снег, и почти столь же непрерывны, как холод. Времени хватает и посмотреть, кто что делает, и поразмыслить, для чего.

Полевка, вспугнутая моими шагами, шмыгнула через сырой след скунса. Почему она бежит днем под открытым небом? Не потому ли, что досадует на оттепель? Лабиринт потайных ходов, которые она так трудолюбиво прогрызла в пожухлой траве под снегом, вдруг исчез, и недавние туннели превратились в тропочки, открытые для всеобщего обозрения и осмеяния. Увы, солнце, растопив снег, уничтожило основу основ экономической системы полевки!

Эта мышка — добропорядочная гражданка своего мирка и твердо знает, что трава растет для того, чтобы полевки собирали ее в стожки, а снег выпадает, чтобы полевки сооружали укромные пути от стожка к стожку: предложенье, спрос и транспортная сеть — все предусмотрено и устроено на славу. Полевке снег приносит избавление от голода и страха.

Мохнопогий канюк проплывает над дальним концом дуга. Вот он замедляет полет, порхает над одним местом, точно зимородок, и оперенной бомбой падает в болотце. Больше он не взлетает, и поэтому я уверен, что он изловил и теперь поедает хлопотливую строительницу из мышинного племени, которая не могла дожидаться ночи, чтобы последовать, насколько поврежден ее упорядоченный мирок.

О том, для чего растет трава, у канюка своего мнения нет, зато он прекрасно знает, что снег тает для того, чтобы кашоки слова могли ловить полевков. Он прилетел из Арктики в надежде на оттепели, потому что оттепель приносит ему избавление от голода и страха.

След скупса углубляется в лес и пересекает полянку, где снег истоптан кроликами и пестреет розовыми пятнами их мочи. Оттепель обнажила юные дубки, и они поплатились за это своими стволами, которые едва оделись корой. Ключья кроличьей шерсти показывают, что среди любострастных самцов уже начались первые поединки этого года. Немного дальше, в широкой дуге, оставленной совиными крыльями, я нахожу кровавое пятно. Этому кролику оттепель принесла избавление от голода, но, кроме того, и бесшабашное забвение страха. Сова напомнила ему, что весенние помыслы не заменяют осторожности.

Цепочка следов ведет дальше и не выдает ни малейшего интереса как к возможной пище, так и к развлечениям или бедствиям других обитателей этих мест. И я гадаю, чем был озабочен мой сунс, что поднял его с постели. Можно ли приписать романтические побуждения этому упитанному субъекту, волочившему солидный животик по талому снегу? Но вот след исчезает под кучей старых бревен и не появляется с другой стороны. Я слышу звонкие шлепки капель внутри кучи стволов и говорю себе, что сунс их тоже слышит, а потом поворачиваюсь и иду домой, все еще гадая и размышляя.

КРЕПКИЙ ДУБ

Человека, у которого нет своей фермы, подстерегают две опасности: твердая уверенность, будто завтраком его обеспечивают магазинные прилавки, и столь же твердая уверенность, будто источник тепла — это котельная.

Чтобы избежать первой опасности, надо завести огород — предпочтительно там, где нет магазинных прилавков, которые могли бы затемнить положение.

А чтобы избежать второй опасности, надо положить в очаг крепкое дубовое полено — предпочтительно там, где нет котельной, — и греть его жаром спину, пока за окнами качает деревья февральская выюга. Если ты сам свалил свой собственный крепкий дуб, распилил его, расколол на поленья, притащил их домой и сложил штабелем, все это время задавая работу мысли, вот тогда ты поймешь, откуда берется тепло, и твоя память запечатлеет богатство подробностей, недоступных тем, кто проводит воскресенья в городе верхом на батарее центрального отопления.

Дуб, который сейчас пылает в моем очаге, вырос у обочины старой дороги переселенцев, там, где она взбирается по песчаному косягу. Свалив его, я измерил пень. Его поперечник равен 30 дюймам, и я насчитал 80 годовых колец, из чего следует, что у ростка, которым он был когда-то, первое кольцо появилось в 1865 году,



в конце войны Севера с Югом. Но история нынешних дубовых ростков научила меня, что практически всякий дуб, прежде чем стать недоступным для кроличьих зубов, зиму за зимой теряет большую часть коры, а летом вновь дает побег. Собственно говоря, каждый выросший дуб обязан жизнью либо кроличьему недосмотру, либо отсутствию кроликов. Со временем какой-нибудь терпеливый ботаник выведет кривую укоренения дубовых сеянцев по годам и убедится, что каждые десять лет она дает пик, соответствующий самой низкой точке кривой десятилетнего цикла кроличьей популяции. (Именно этот процесс постоянной внутри- и межвидовой борьбы обеспечивает животным и растениям коллективное бессмертие.)

Таким образом, можно предположить, что в середине шестидесятых годов прошлого века, когда мой дуб начал наращивать ежегодные кольца, кролики в здешних краях почти перевелись, но что давший ему жизнь желудь упал на землю в предыдущем десятилетии, когда по косогору еще взбирались фургоны переселенцев, устремлявшихся к необжитым просторам северо-запада. Возможно, их тяжелые колеса обнажили косогор, и потому этот росток мог подставить свои первые листья солнцу. Ведь лишь из одного желудя на тысячу вырастал дубок, которому грозили зубы кроликов, — остальные, едва пробившись из земли, тут же гибли в море степных трав.

И на сердце становится тепло при мысли, что этот дубок не захлебнулся в нем и остался жить, чтобы восемьдесят лет собирать и хранить энергию юньского солнца. Вот этот-то солнечный свет благодаря посредничеству моих пилы и топора и высвобождается сейчас, согревая мое жилище и мой дух, пока выюга обрушивается на стены и раз, и два, и восемьдесят раз. И при каждом порыве ветра клуб дыма над моей трубой свидетельствует всем и каждому, что солнце спяло не напрасно.

Моему псу совершенно не важно, откуда берется тепло, зато ему очень важно, чтобы оно было, и поскорее. И мою способность делать так, чтобы стало тепло, он считает магической, потому что, когда я встаю с постели в холодном предрассветном мраке и, поживаясь, опускаюсь на колени перед очагом, чтобы развести огонь, он преспокойно втискивается между мной и уложенной на золе растопкой, а я вынужден просовывать руку с зажженной спичкой под его лапам. Наверное, такая вера и двигает горами.

Наращивать древесину и дальше этому дубу помешал удар молнии. Как-то ночью в июле нас всех разбудил оглушительный раскат грома, и мы сразу сообразили, что молния ударила где-то рядом, но так как ударила она все-таки не в нас, мы вскоре снова уснули. Человек все примеривает к себе, и в частности молнию.



Утром, поднимаясь на холм и радуясь вместе с рудбекней и степным клевером недавнему освежающему дождю, мы наткнулись на огромный пласт коры, сорванный с придорожного дуба. По стволу тянулась длинная, шириной в добрый фут спиральная полоса обнаженной древесины, еще не пожелтевшей от солнца. На следующий день листва на дубе пожухла, и мы поняли, что молния подарила нам целую поленицу отличных дров.

Гибель старого дерева огорчила нас, но мы знали, что на песках десятки стройных и крепких отпрысков по его примеру уже накапливают древесину.

Мы оставили погибшего патриарха еще год сохнуть на солнце, которое он уже больше не мог пить, а потом в погожий зимний день пришли к нему, и вскоре наточенная пила вгрызлась в могучий ствол над контрфорсами корней. Душистые опилки посыпались из-под ее зубьев, ложась на снег перед коленопреклоненными пыльщиками. Мы чувствовали, что эти две кучки опилок — не просто измельченное дерево, но нечто большее, что это поперечный срез целого века, что наша пила движение за движением, десятилетие за десятилетием все глубже и глубже уходит в летопись целой жизни, записанной концентрическими годовыми кольцами крепкой дубовой древесины.

Всего десяток движений пилы — и уже пройдены те несколько лет, которые ферма принадлежит нам, те несколько лет, которые научили нас любить и беречь ее. И сразу же мы врезаемся в годы нашего предшественника — бутлегера, который ненавидел ферму, совсем истощил ее почву, сжег дом и постройки, швырнул ее снова на изживание графства (с неплаченными долгами в придачу) и затерялся среди безымянных безземельных тысяч, выброшенных великой экономической депрессией из привычного круговорота жизни. Тем не менее дуб нарастил для него прекрасную древесину — опилки его лет столь же душисты, крепки и розоваты, как и наших. У дуба нет симпатий и антипатий к людям.

Царствование бутлегера кончается где-то среди засух и пылевых бурь 1936, 1934, 1933 и 1930 годов. Дым дубовых поленцев, нагревавших его самогонный аппарат, и торфяной дым горящих болот, наверное, затемнял в те годы солнце, по штату рыскали поклонники азбучного сохранения окружающей среды, но опилки сыплются все такие же.

«Отдыхай!» — командует старший пильщик, и мы переводим дух.

Теперь пила вгрызается в двадцатые годы, в десятилетие самоуверенных дельцов, когда в горячке безответственности и самодовольства все становилось «больше и лучше» — вплоть до уже пройденного пилой 1929 года и биржевого краха. Если судороги биржи и докатились до дуба, древесина не сохранила никаких следов этого. Не запечатлела она и нескольких законодательных излияний любви к деревьям — федерального закона о лесах и лесоразработках от 1927 года, создания большого заказника-убежища в пойме верхней Миссисипи в 1924 году и утверждения нового отношения к лесам в 1921 году. Не заметил дуб ни гибели последней кунницы Висконсина в 1925 году, ни появления в штате первого скворца в 1923 году.

В марте 1922 года «Великий гололед» обломал все окрестные вязы. Но на нашем дереве нет никаких его следов. Что такое лишняя тонна оледеневшего снега для крепкого дуба?

«Отдыхай!» — командует старший пильщик, и мы переводим дух.

Теперь пила проходит между 1920 и 1910 годами — десятилетие грез о мелиорации, когда паровые экскаваторы высушили болота центрального Висконсина, чтобы создать плодородные поля, а вместо этого создали лишь пепелища. Наше болото уцелело, однако не из-за добросердечности или дальновидности инженеров, но

просто потому, что каждый апрель река, разливаясь, затопляет его, а в 1913—1916 годах разливы были особенно бурными (может быть, оборонительно бурными). А дуб знай наращивал древесину — даже в 1915 году, когда верховный суд снял со штата обязанность охранять леса и губернатор Филипп торжественно объявил, что «в охране лесов штатом ничего хорошего с деловой точки зрения нет». (Губернатору не пришло в голову, что «хорошее» имеет разные определения, да и «деловая точка зрения» тоже. Ему не пришло в голову, что, пока суды вносят в законодательство одно определение «хорошего», лесные пожары выжигают на землях штата совсем другое. Возможно, для того, чтобы быть губернатором, надо освободиться от сомнений в подобных вопросах.)

Но если в этом десятилетии охрана лесов ослабела, охрана дичи входила в силу. В 1916 году в графстве Уокенно успешно прижились фазаны, в 1915 году федеральный закон запретил весеннюю охоту, в 1913 году в штате была создана ферма для разведения дичи, в 1912 году «олений закон» поставил под охрану оленьих самок, в 1911 году штат охватила лихорадка создания убежищ. Слово «убежище» стало священным, но дуб этого не заметил.

«Отдыхай!» — командует старший пильщик, и мы переводим дух.

Теперь мы пилим 1910 год, когда ректор большого университета опубликовал книгу о сохранении дикой природы, когда большое нашествие пильщиков погубило миллионы лиственниц, когда большая засуха сожгла сосновые боры, а большая землечерпалка осушила Хориконское болото.

Мы пилим 1909 год, когда в Великие озера впервые была запущена корюшка, а дождливое лето побудило законодательное собрание штата урезать суммы, выделенные на борьбу с лесными пожарами.

Мы пилим 1908 год — сухой год, когда бушевали лесные пожары и Висконсин простился со своей последней пумой.

Мы пилим 1907 год, когда бродячая рысь в поисках земли обетованной свернула не туда и окончила свой жизненный путь среди ферм графства Дейн.

Мы пилим 1906 год, когда в штате приступил к выполнению своих обязанностей первый лесничий, а в песчаных графствах пожары уничтожили 17 000 акров леса; мы пилим 1905 год, когда с севера прилетело много ястребов-тетеревятников, которые истребили местных воротничковых рябчиков (наверное, они опускались со своей добычей и на ветви этого дуба). Мы пилим на редкость жестокую зиму 1903—1902 года; 1901 год, который принес самую сильную из известных засух (выпало только 17 дюймов дождя);

1900 год, открывавший повое столетие надежд и молитв и отмеченный таким же кольцом древесины, как и все прочие.

«Отдыхай!» — командует старший пильщик, и мы переводим дух.

Теперь наша пила вгрызается в девяностые годы прошлого века, которые назывались «веселыми» и обращали взгляд на города, а не на природу родной земли. Мы проходим 1899 год, когда последний странствующий голубь столкнулся с зарядом дроби под Бабкоком, в двух графствах к северу от нас; мы проходим 1898 год, когда после сухой осени бесснежная зима проморозила землю на 7 футов и убила яблони; 1897 год, тоже засушливый, когда была создана еще одна лесная комиссия; 1896 год, когда 25 тысяч степных тетеревов были отправлены на рынок только из местечка Спунер; 1895 год, еще один год пожаров; 1894 год, еще один засушливый год, и 1893 год, год «Бурана синих птиц», когда мартовская вьюга погубила чуть ли не всех синих птиц во время их пролета. (Первые синие птицы всегда опускались на этот дуб, но в середине девяностых годов прошлого века ему почти наверное не пришлось их привечать). Мы проходим 1892 год, еще один год пожаров; 1891 год, низшую точку цикла численности воротничкового рябчика, и 1890 год, ознаменованный созданием Бабкокского сепаратора, благодаря которому губернатор Хейл смог полвека спустя гордо назвать Висконсин «молочной фермой Америки».

И в том же 1890 году по реке Висконсин на виду у моего дуба гнали самые большие в истории сосновые плоты для сооружения бесчисленных красных коровников на просторах прерий. И сейчас крепкая сосна защищает какую-то корову от вьюги, как крепкий дуб защищает от вьюги меня.

«Отдыхай!» — командует старший пильщик, и мы переводим дух.

Теперь наша пила вгрызается в восьмидесятые годы прошлого века, в 1889 год, когда впервые был провозглашен День посадки деревьев; в 1887 год, когда Висконсин назначил первых егерей для охраны дичи; в 1886 год, когда сельскохозяйственный колледж впервые организовал краткосрочные курсы для фермеров; в 1885 год, которому предшествовала зима «неслыханной продолжительности и суровости»; в 1883 год, когда декан У. Х. Генри сообщил, что в Мадисоне весенние цветы зацвели на 13 дней позже среднего срока; в 1882 год, когда озеро Мецдота вскрылось на месяц позже обычного из-за исторического «Великого снегопада» и жесточких холодов зимы 1881—1882 годов.

И в том же 1881 году Висконсинское сельскохозяйственное общество обсуждало вопрос: «Как вы объясняете вторичное появление черного дуба по всему графству за последние 30 лет?» Одним из этих дубов был и мой дуб. Кто-то из выступавших выдвинул идею самозарождения, другой считал, что летящие на юг голуби отрывают желуди.

«Отдыхай!» — командует старший пилщик, и мы переводим дух.

Теперь наша пила грызет семидесятые годы прошлого века — десятилетие висконсинской пшеничной вакханалии. Похмелье наступило в 1879 году, когда пшеничные клопы, гусеницы, ржавчина и истощение почвы убедили висконсинских фермеров, что им не под силу тягаться с поселенцами западных прерий в их излюбленной игре — сей, сей, сей пшеницу, пока не высосешь из земли все соки. По-видимому, наша ферма тоже участвовала в этой игре, и ветровой песчаный напос точно к северу от моего дуба обязан своим происхождением пшеничным безумствам.

Тот же 1879 год наблюдал, как в Висконсине впервые начали разводить карпа и как там появился пырей, тайком перебравшийся через океан в трюмах грузовых судов. Днем 27 октября того же года шестеро степных тетеревов опустились отдохнуть на конек немецкой методистской церкви в Мадисоне и оглядели растущий городок. А 8 ноября сообщалось, что рынки Мадисона завалены утками по 10 центов за штуку.

В 1878 году охотник на оленей из Сок-Рапидс бросил пророческую фразу: «Скоро охотников будет больше, чем оленей».

В 1877 году два брата, охотясь на озере Маскиго, за один только день 10 сентября добыли 210 синекрылых чирков.

В 1876 году выпало более 50 дюймов дождя — рекордная цифра. Численность степных тетеревов резко сократилась: возможно, из-за сильных дождей.

В 1875 году четыре охотника убили в Йорк-Прери, через одно графство к востоку, 153 степных тетерева. В том же году комиссия США по рыболовству выпустила мальков лосося в озеро Девилс-Лейк, в 10 милях к югу от моего дуба.

В 1874 году стволы дубов опутывались новинкой — колючей проволокой фабричного производства. Как бы зубья пилы не наткнулись в древесине на такой сувенир!

В 1873 году некая чикагская фирма получила и продала 25 тысяч степных тетеревов. Всего торговцы Чикаго купили 600 тысяч птиц по 3 доллара 25 центов за дюжину.

В 1872 году была убита последняя висконсинская дикая индейка — через два графства к юго-западу.

По-своему знаменательно, что десятилетие, завершившее пышную вакханалию первооселенцев, завершило и вакханалию истребления странствующего голубя. В 1871 году в пятидесяти-миллионном треугольнике к северу от моего дуба гнездилось около 136 миллионов этих голубей; возможно, их гнезда были и на его ветвях — ведь тогда он уже был двадцатифутовым молодым дубом. Созни охотников промышляли голубей с помощью сетей и ружей, дубинок и соли. В большие города на юг и восток шли целые поезда с будущей начинкой для пирогов. Это было последнее крупное гнездовье в Висконсине и одно из последних в стране.

Тот же 1871 год принес и другие свидетельства натиска технической цивилизации: Пенсильгский пожар, уничтоживший леса и верхний слой почвы в двух-трех графствах, и Чикагский пожар, который по преданию запалила корова, возмущенно брыкнув подойник.

В 1870 году уже завершился натиск полевок: они сгрызли юные фруктовые саженцы в юном штате, а затем вымерли. Моего дуба они не тронули — его кора была уже слишком толстой и грубой для мышиных зубов.

В том же 1870 году охотник хвастливо сообщил в охотничьем журнале *American Sportsman*, что за прошлый сезон он добыл в окрестностях Чикаго 6 тысяч уток.

«Отдыхай!» — командует старший пильщик, и мы переводим дух.

Теперь наша пила проходит шестидесятые годы прошлого века, когда тысячи и тысячи людей погибли, разрешая вопрос о том, можно ли безболезненно вырывать составные части из сообщества человек — человек. Этот вопрос они разрешили, но не заметили, как до сих пор не замечаем и мы, что тот же вопрос равно относится к сообществу человек — природа.

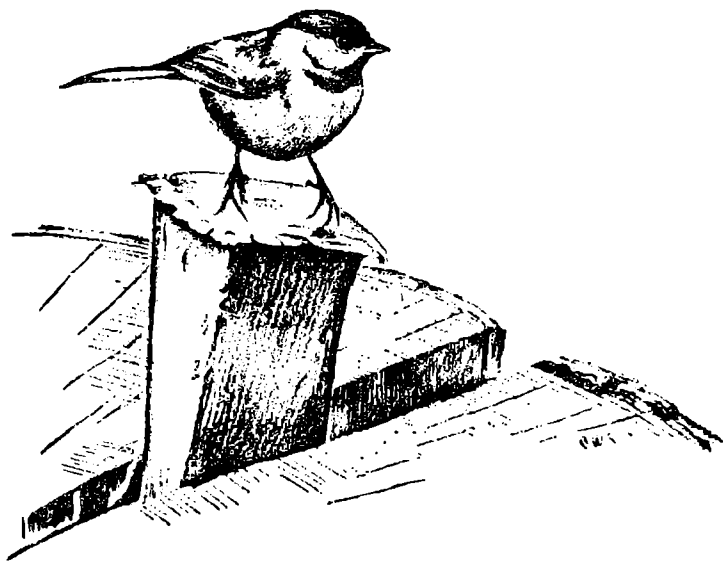
Это десятилетие знало некоторые поиски вслепую, касавшиеся второго вопроса. В 1867 году садовод А. Лэпен убедил Садоводческое общество штата назначить премии за лесные посадки. В 1866 году был убит последний висконсинский вапити. А теперь пила делит надвое 1865 год, сердцевину нашего дуба. В этом году Джон Мьюир хотел купить у своего брата, которому тогда принадлежала родовая ферма в тридцати милях к востоку от нашего дуба, участок, чтобы сохранить дикие цветы, так украшавшие его детство. Брат не согласился уступить свою землю, но идея осталась жить, и в истории Висконсина 1865 год остается годом первой попытки защитить дикую природу, сохранить ее вольной и нетронутой.

Мы прошли сердцевицу. Наша пила теперь движется в направлении хода истории. Мы идем поперек уже пройденных лет, вперед к коре. Наконец огромный ствол содрогается, внезапно распил становится шире, пильщики мгновенно вытаскивают пилу и отбегают на безопасное расстояние. Все дружно кричат: «Берегись!» Мой дуб кренится, стонет и с громовым треском валится поперек старой дороги переселенцев, которая дала ему жизнь.

Теперь надо превратить старого великана в дрова. Стальные клинья звенят под ударами кувалды, и отпиленные чурбаки один за другим распадаются на душистые поленья. Их складывают у дороги и стягивают веревкой в аккуратные вязанки.

Пила, клин и топор действуют по-разному, на свой лад, предлагая историкам глубокую аллегория.

Пила движется только поперек лет в строго хронологическом порядке. Разведенные зубья по очереди извлекают из каждого года лежащие кучками щепочки фактов. Лесорубы называют их опилками, а историки — архивами; те и другие судят о том, что скрыто внутри, по образчикам, извлеченным наружу. Только когда распил закончен и дерево падает, на срезе пня взгляду открывается общий вид столетия. Своим падением дерево подтверждает единство мещанщины, которую мы зовем историей.



Клин раскалывает по вертикали, открывая взгляду общий вид на все годы одновременно — или же ничего не открывая, так как тут все зависит от того, насколько точно выбрано направление удара. (Если вы не уверены, оставьте чурбак сохнуть до будущего года, чтобы появились трещины. Сколько клинбев, перасчетливо вогнанных поперек волокна, ржавеет по лесам!)

Топор рубит только под углом к годам и только в пределах внешних колец недавнего прошлого. Его особое назначение — обрубить сучья, для чего ни пила, ни клин не годятся.

Эти три орудия необходимы и для хорошего дуба, и для хорошей истории.

Вот о чем я размышляю под пение чайника, пока крепкие дубовые поленья догорают, рассыпаясь алыми углями по белой золе. Зола эту, когда наступит весна, я верну земле в яблоневом саду у подножия песчаного холма. И она вновь возвратится ко мне то ли как румяные яблоки, то ли в неумной энергии какой-нибудь жирной октябрьской белки, которая сама не зная почему упорно сажает и сажает желуди.

Март

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГУСЕЙ

Одна ласточка не делает весны, но одна стая диких гусей, прорезающая мутную мглу мартовской оттепели, — это сама весна.

Кардинал встречает оттепель весенней песенкой, но, убедившись в своей ошибке, он может вновь погрузиться в зимнее молчание. Бурундук выбегает из норки, чтобы принять солнечную ванну, но, увидев кружащиеся снежные хлопья, он может вповь вернуться в свою теплую постель. Однако перелетному гусю, одолевшему в ночном мраке двести миль в надежде найти полынью на озере, отступать некуда. В его появлении есть что-то от неколебимой убежденности пророка, который сжег за собой мосты.

Мартовское утро скучно и серо только для тех, кто ни разу не взглянет в небо, не пасторожит слуха, ожидая услышать гусиные клики. Я знавал весьма ученую даму, окольцованную дипломом с отличием, которая, по ее словам, ни разу не видела и не слышала гусей, дважды в год возвещающих смену времен года ее зву-

конепроницаемой крыше. Неужели получать образование — это значит обменивать чуткость восприятия на более дешевые ценности? Если бы какой-нибудь гусь рискнул на такой обмен, он скоро превратился бы в безжизненную кучу перьев.

Гуси, провозглашающие смену времен года над нашей фермой, чутко восприняли очень многое — включая и висконсинские законы об охоте. Спешащие на юг ноябрьские стаи пролетают над нами в гордой вышине и без единого приветственного крика минуют свои излюбленные песчаные косы и заводы. Любая линейка покажется кривой, если приложить ее к линии, которую они прочерчивают в небе, устремляясь к ближайшему большому озеру в двадцати милях южнее, где днем они будут отдыхать на середине широкого плеса, а ночью воровать кукурузу на сжатых полях. Ноябрьские гуси давным-давно восприняли, что от зари и до зари каждое болотце, каждый пруд щетинятся алчущими ружьями.

Другое дело — мартовские гуси. Хотя по ним стреляли всю зиму, о чем свидетельствуют следы дробы на их маховых перьях, они знают, что в силу уже вступило весеннее перемирие. Они следуют всем излучинам реки, пролетают совсем низко над мысками и островами, где теперь нет ни единого охотника, и радостно гогочут при виде каждой косы, точно здороваясь со старым другом. Они низко кружат над болотами и лугами, приветствуя каждое вскрывшееся озерцо, каждую оттаявшую лужу. Наконец они проформы ради делают несколько кругов над нашим болотом, а затем идут на посадку и бесшумно планируют на пруд, выпустив темные шасси и белея подхвостьями. Едва коснувшись воды, новоприбывшие гуси поднимают такой гогот и так бурно плещутся, что вытряхивают из ломкого рогоза последние воспоминания о зиме. Наши гуси снова дома!

И каждый год в эту минуту я жалею, что я не ондатра, укрывая болотной водой по самые глаза.

Эти первые гуси встречают шумными приглашениями каждую приближающуюся стаю, и через несколько дней болото уже кишит птицами. На ферме у нас есть две мерки для определения размаха нашей весны: число посаженных сосенок и число гусей, остановившихся на болоте. Наш рекорд — 642 гуся, сосчитанные 11 апреля 1946 года.

Как и осенью, наши весенние гуси ежедневно навещают поля, по не тайком, не под покровом почного мрака, а шумно отправляются бродить по стерне среди бела дня и столь же шумно возвращаются обратно. Каждую такую вылазку предваряют громкие споры, и каждое возвращение — еще более громкие. Освоившись, гуси на обратном пути с полей уже не считают нужным кружить над болотом, а прямо сыплются с неба, точно кленовые листья,

заходя справа и слева, чтобы быстрее потерять высоту, вытягивая ноги навстречу приветственным кликам внизу. Затем раздается оглушительный гогот — возможно, идет обмен мнениями о достоинствах недавнего обеда. Они подбирают теперь осыпавшиеся зерна, которые пролежали зиму под снежным одеялом, недоступные для ворон, кроликов, полевок и фазанов — всех тех, кто любит лакомиться кукурузой.

Твердо известно, что для кормежки гуси предпочитают поля, распаханые на месте прежних прерий. Но никто не знает, отражает ли это предпочтение какую-то особую питательность тамошнего зерна или же традицию предков, передававшуюся из поколения в поколение со времен нетронутых прерий. А может быть, объяснение заключается просто в том, что такие поля, как правило, обширнее. Будь у меня способность понимать громовые споры, бушующие до и после палетов на поля, наверное, я скоро понял бы причины этого пристрастия к прерии. Но такой способности у меня нет, и я несколько не огорчаюсь, что тайна остается тайной. Если бы мы знали о гусях все, каким скучным стал бы мир!

Наблюдая будни весеннего слета гусей, начинаешь замечать преобладание гусей-одиночек, которые то и дело перелетают с места на место в особенно много гогочут. Очень легко приписать их крикам тоскливость и тут же решить, что это безутешные вдовцы или матери, разыскивающие потерянных детей. Однако бывалый орнитолог знает, сколь рискованно такое субъективное истолкование поведения птиц. И я долго старался воздерживаться от поспешных выводов.

Шесть лет я со своими студентами пересчитывал гусей, составляющих одну стаю, и результаты этой работы пролили неожиданный свет на загадку одиноких гусей. Статистический анализ показал, что частота, с которой встречаются стаи с числом особей, равным или кратным шести, не может быть случайной. Другими словами, гусиные стаи — это семьи или объединения семей, и весенние одинокие гуси, вероятнее всего, действительно потеряли своих близких, как с самого начала и рисовалось нашему воображению. Уцелев от осиротившей их зимней охоты, они тщетно разыскивают свою переставшую существовать семью. Теперь, услышав их тоскливые крики, я с полным правом могу всем сердцем сочувствовать им.

Не так уж часто бесстрастная математика подтверждает сентиментальные фантазии любителя птиц!

Апрельскими вечерами, когда уже так тепло, что можно сидеть на крыльце, мы любим прислушиваться к дебатам на болоте. Долгое время тишину нарушает только посвистывание кулика, дальнейшее ухастье совы или глухавое хлопанье влюбленной лысухи.



Потом вдруг раздается пронзительный гогот — и поднимается невообразимый шум. Бьют по воде крылья, пенят воду широкие лапы, швыряя вперед темные тела, и, как обычно при бурных спорах, кричат все кто во что горазд. Наконец какой-нибудь особо голосистый гусь оставляет за собой последнее слово, и шум замедляет, переходя в то еле слышное бормотание, которое почти никогда не стихает в гусиной стае. И вновь: ах, почему я не ондатра!

К тому времени, когда расцветает сон-трава, делегаты гусиного слета на нашем болоте отправляются восвояси. К исходу апреля оно вновь становится всего лишь сырой путаницей зеленых трав и оживляют его только краснокрылые болотные трупиалы и пастушки.

Организация Объединенных Наций была создана в 1945 году, но гуси прониклись идеей единства мира много раньше и каждый март уверяют ее истинности свою жизнь.

Вначале было только единство великих ледников. Его сменило единство мартовских оттепелей и ежегодного переселения международных гусей на север. Каждый март со времен плейстоцена гуси трубили о единстве от Южно-Китайского моря до сибирских степей, от Евфрата до Волги, от Нила до Мурманска, от Липкольншира до Шпицбергена. Каждый март со времен плейстоцена гуси трубили о единстве от Карритака до Лабрадора, от Матануски до Унгавы, от озера Хоршу до Гудзонова залива, от Эйвери-Айленда до Баффиновой Земли, от Панхандла до Маккензи, от Сакраменто до Юкона.

Благодаря таким международным передвижениям гусей избыток иллинойской кукурузы уносится сквозь весенние туманы в арктическую тундру, где в сочетании с избытком света незаходящего июньского солнца он помогает взрастить гусят для всех земель, лежащих на гусиных маршрутах. И этот ежегодный обмен пищи на свет и зимнего тепла на пустынные летние просторы приносит всему континенту чистую прибыль — песню дикой природы, слетающую с мглистого неба на мартовскую грязь.

Апрель

ПОЛОВОДЬЕ

По той же логике, по которой большие реки обязательно текут около больших городов, весеннее половодье время от времени отрезает маленькие фермы от всего мира. Наша ферма — маленькая,

и порой, приехав туда в апреле, мы оказываемся отрезанными от всего мира.

Конечно, непреднамеренно. Казалось бы, па то и прогноз погоды, чтобы примерно знать, когда снег на севере начнет бурно таять, и подсчитать, сколько суток потребуется высокой воде, чтобы миновать города в верхнем течении реки. Тем не менее в воскресенье вечером, когда пора возвращаться в город, где ждет работа, вдруг выясняется, что это невозможно. Как ласково бормочет разливающаяся вода, соболезнуя по поводу деловых встреч утром в понедельник, которые она сорвала! Как звучно и громко кричат гуси, переплывая с одного ставшего озером поля на другое! Через каждые сто ярдов то один, то другой гусь начинает бить крыльями, стремясь увлечь за собой стаю на исследование этого нового водяного мира.

Ликование гусей, когда приходит высокая вода, — вещь тонкая, и те, кто плохо разбирается в гусяной болтовне, могут его и не заметить, зато карпы ликуют попросту и без обиняков. Не успевают разлив увлажнить корни трав, а карпы уже тут как тут, подрывают их и возятся в мути с упоением свиней, выпущенных в поле. Сверкая красными хвостами и желтыми брюшками, они плывут по колеям и коровьим тропам, прорываются сквозь тростники и кустарники, торопясь исследовать свою расширяющуюся вселенную.

В отличие от гусей и карпов обитающие на суше птицы и млекопитающие встречают половодье с философским безразличием. Кардинал на ветке погруженной в воду березы громко высвистывает свою заявку на территорию, о существовании которой свидетельствуют лишь деревья. Воротничковый рябчик гремит где-то в затопленном лесу. Конечно, он выбрал самый толстый комель самого толстого из упавших стволов, которые облюбовал для этого занятия. Полевки плывут к пригорку спокойно и уверенно, точно миниатюрные ондатры. Из яблоневого сада выбегает олень: вода заставила его покинуть обычное дневное убежище в ивняке. Повсюду снуют кролики, хладнокровно обосновавшиеся на нашем холме, который временно превратился в Ноев ковчег.

Весенний разлив несет нам не только увлекательные приключения, но еще и целую коллекцию самых неожиданных плавучих предметов, которые река стащила на фермах выше по течению. Старую доску, севшую на мель у нас на лугу, мы ценим вдвое дороже новой, только что доставленной с лесопилни. Ведь всякая старая доска имеет свою историю, пусть неизвестную, но поддающуюся разгадке, если внимательно рассмотреть, из какого она дерева, каких размеров, следы каких гвоздей, винтов или краски остались на ней, обстругана она или нет, потрескалась или под-

гнила. По тому, как песок мелей и перекатов исцарапал ее края, можно даже догадаться, сколько раз переносили ее внешние воды с одного места на другое.

Штабель досок, которые нам принесла река, — это не просто собрание индивидуальностей, но и сборник рассказов о человеческой деятельности на фермах и в лесах выше по течению. Автобиографии старых досок пока еще не включены в университетские курсы литературы, но это не мешает любой ферме на речном берегу обладать библиотекой, всегда доступной тем, кто орудует молотком и пилой. И с каждым половодьем она пополняется всякими новинками.

Уединение бывает разным и обладает многими степенями. Остров на середине озера — место уединенное, но по озеру плавают лодки, и всегда можно ждать гостей. Заоблачная вершина сулит свое уединение, но почти на все вершины ведут тропы, а по тропам ходят туристы. Я не представляю себе уединения более нарушимого, чем то, которое оберегается весенним половодьем. И так же считают гуси, которым ведомо куда больше степеней и разновидностей одиночества, чем мне.

И вот мы сидим на своем холме возле расцветшей сон-травы и смотрим на проплывающих гусей. Я гляжу туда, где наша дорога уходит под воду, и решаю (с внешним равнодушием, но про себя ликуя), что по крайней мере сегодня вопрос о том, как добраться сюда или выбраться отсюда, плодотворно могут обсуждать только карпы.

КРУПКА

Еще две-три недели, и крупка, самое крохотное из цветущих растений, усеет все пески своими малюсенькими звездочками. Тот, кто ищет весну, с надеждой глядя вверх, не видит такой мелочи, как крупка. Тот, кто, отчаявшись ждать весну, опускает глаза, топчет ее, не замечая. Тот, кто ищет весну, ползая на коленях в грязи, находит ее в изобилии.

Крупка просит — и получает — лишь самую скудную долю тепла и комфорта; она живет невостребованными остатками времени и пространства. Учебники ботаники отводят ей две-три строчки, но никогда не помещают ее рисунка или фотографии. Крупке достаточно песка, слишком бесплодного, и солнца, слишком слабого для более крупных, нарядных цветов. В конце-то концов она вовсе и не весенний цветок, а всего лишь постскрипум к надежде.

Крупка не заставляет звучать струны сердца. Ее благоухание — если она благоухает — бесследно развеивают порывистые ветры. Цвет у нее безыскусственно белый. Листья ее носят практичную одежду из мохнатых волосков. Ее никто не ест — она слишком мала. Поэты ее не воспевают. Какой-то ботаник дал ей однажды латинское название и забыл про нее. В пей нет ничего значительного — просто маленькое живое существо, исполняющее свою работу быстро и хорошо.

ДУБ КРУПНОПЛОДНЫЙ

Когда школьники голосуют, какую птицу, какой цветок или дерево выбрать символом своего штата, они не принимают решения, а просто ратифицируют выбор истории. История сделала дуб крупноплодный типичным деревом южного Висконсина в те времена, когда травы прерий впервые завладели районом. Этот дуб — единственное растение, способное выдержать степной пожар и выжить.

Вы никогда не задумывались пад тем, почему толстый слой пробковой коры одевает все дерево вплоть до самых тонких его веточек? Кора служит ему броней. Эти дубы были передовым отрядом наступающих лесов, который двинулся штурмовать прерию. Сражаться им приходилось с пожарами. Каждый апрель, до того как молодая трава одевала прерию несгораемой сочной зеленью, там бушевали пожары, щадя только те дубы, которые успели нарастить толстую кору, непроницаемую для жара. Разбросанные там и сям рожи ветеранов давних сражений почти сплошь состоят из дубов крупноплодных.

Инженеры не изобретали изоляции, они заимствовали ее идею у этих старых солдат, воевавших с прерией. Ботаники прочли историю двадцатитысячелетней войны. Летопись состоит частично из пыльцы, сохранившейся в торфе, а частично из реликтовых растений, интродуцированных в тылу и забытых там. Летопись рассказывает, что лес временами отступал почти до озера Верхнего, а временами проникал глубоко на юг. Был период, когда фронт продвинулся так далеко, что ели и другие «арьергардные» виды росли у южной границы Висконсина и еще южнее — еловая пыльца содержится на определенном уровне во всех тамошних торфяниках. Но в основном битва прерии и леса велась там, где граница между ними проходит сейчас, и исход этой битвы остается ничейным.



Свою роль тут сыграли союзники, которые поддерживали то одну, то другую сторону. Так, кролики и полевки летом срезали под корень травы прерии, а зимой обдирали кору с молодых дубков, не погибших от пожаров. Белки сажали желуду осенью и поедали их в остальные времена года. Личинки хрущей портили корни трав, но взрослые жуки объедали листву дубов. Однако не будь эти союзники — а с ними и победа — столь переменчивы, у нас не было бы той богатой мозаики степных и лесных почв, которая столь декоративно выглядит на карте.

Джонатан Карвер оставил нам яркое описание границы прерий, когда в них еще не хлынули переселенцы. 10 октября 1763 года он посетил Блу-Маунде — группу высоких холмов (теперь заросших лесом) у юго-западного края графства Дейн. Он рассказывает:

«Я поднялся на самый высокий и обозрел окрестность. На многие мили вокруг виднелись только холмы пониже, вдали походившие на стога, потому что деревьев на них нет вовсе. Только ложбины кое-где поросли гикори и чахлыми дубами».

В сороковых годах прошлого века в битву вмешался новый участник — поселенец. Он ни о чем таком не думал и просто распахивал под поля столько земли, что прерия лишилась своего верного союзника — пожаров. Дубовые ростки тотчас легионами двинулись в луга, и область прерий преобразилась в область лесных ферм. Если не верите, пересчитайте годовые кольца любых пней любой лесистой гряды на юго-западе Висконсина. Все деревья там, за исключением старейших ветеранов, датируются пятидесятыми и шестидесятыми годами прошлого века — а именно тогда прерия перестала гореть.

Джон Мьюир вырос в графстве Маркетт как раз в тот период, когда новые леса захватили старую прерию и ее дубравы исчезли в чаще молодых деревьев. В своей книге «Отрочество и юность» он вспоминает:

«Густая и высокая трава, питаемая богатой почвой илинойской и висконсинской прерии, давала такую пищу пожарам, что там не могло расти ни одно дерево. Не будь пожаров, прекрасная прерия, замечательнейшая особенность этого края, была бы покрыта дремучим лесом. Едва край был заселен и фермеры принялись меры против низовых пожаров, корни взрастили деревья, образовавшие столь густые чащи, что сквозь них было трудно продирается, и солнечные дубравы исчезли без следа».

Итак, тот, на чьей земле растет дуб крупноплодный, владеет не просто деревом. Он владеет исторической библиотекой и абонементом в театре эволюции. Для умудренного взгляда его ферма украшена эмблемой и символом войны леса и прерии.

ТАНЦЫ В НЕБЕ

Только через два года после покупки фермы я узнал, что в апреле и мае над моим лесом каждый вечер бывают танцы в небе. После этого мы — моя семья и я — старались не пропустить ни одного такого танца.

Балет начинается в первый теплый апрельский вечер точно в шесть часов пятьдесят минут. Затем изо дня в день занавес поднимается на минуту позже, чем накануне, и так до 1 июня, когда начало приходится на семь часов пятьдесят минут. Эту скользящую шкалу устанавливает тщеславие танцора: ему необходима романтическая сила света точно в 0,05 фут-свечи. Не опаздывайте и сидите тихо, не то он оскорбленно улетит. Декорации, как и время, свидетельствуют об артистическом темпераменте исполнителя. Он согласен выступать только в открытом амфитеатре, среди леса или кустарника, и в центре сцены обязательно должна быть полоска мха или бесплодного песка, голая каменная россыпь или голая середина тропы. Сначала меня удивляло, почему самцу вальдшнепа требуются для танца голые подмошки, но теперь я думаю, что дело тут в особенностях его ног. Ноги у вальдшнепа короткие, и в густой траве или зарослях бурьяна он не мог бы выполнять свои па с блеском, да и его дама их просто не увидела бы. На моей ферме больше вальдшнепов, чем на соседних, потому что на ней особенно много песчаных проплешии, покрытых мхом, так как им нечем питать траву.

Зная час и место, вы устраиваетесь под кустом к востоку от сцены и терпеливо ждете, вглядываясь в закатное небо, не появится ли вальдшнеп. Он прилетает из какой-нибудь ближней чащи, держась очень низко, опускается на голый мох и тотчас начинает увертюру, каждые две секунды испуская странные горловые звуки «циик, циик», очень похожие на летний крик козодоя.

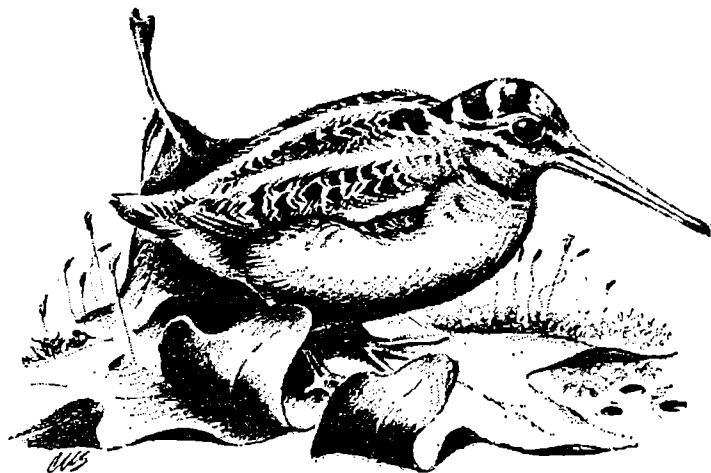
Внезапно циканье обрывается и птица взмывает в небо, выписывая широкие спирали и музыкально посвистывая. Она поднимается все выше, спирали сужаются, становятся круче, а свист громче, и вот уже артист кажется темной точкой в небе. Затем он внезапно падает вниз, точно подбитый самолет, сопровождая свое падение нежными гармоничными трелями, которым может позавидовать любая синяя птица в марте. Почти у самой земли он выравнивается, возвращается на сцену — обычно на то самое место, где начиналось представление, — и вновь принимается цикать.



Скоро настолько смеркается, что танцора на земле уже не видно, но за его полетами можно следить еще час — обычное время представления. Однако в лунные ночи оно может с интервалами продолжаться до тех пор, пока луна не скроется.

На рассвете балет повторяется заново. В начале апреля занавес опускается в пять часов пятнадцать минут, на другой день — на две минуты раньше, и так до июня, когда последнее выступление в этом году заканчивается в три часа пятнадцать минут утра. Почему такая разница в скользящей шкале? Увы, боюсь, что даже романтик способен устать: на утренней заре, чтобы танец оборвался, нужно в пять раз меньше света, чем требуется для его начала на вечерней заре.

Как внимательно ни изучай сотни маленьких спектаклей, разыгрывающихся в лесах и лугах, все-таки никогда не узнаешь всего хотя бы об одном из них — и пожалуй, это хорошо. О танцах в небе мне пока неизвестно следующее: где прячется дама и какова ее роль, если у нее есть роль. Я часто вижу на площадке двух вальдшнепов, и иногда они летают вместе, но никогда вместе не какают. Так кто же эта вторая птица — самка или самец-соперник?



Еще один вопрос — издается ли свист горлом или производится механически? Мой друг Билл Финн однажды набросил сеть на цакающего вальдшнепа и удалил из его крыльев внешние первостепенные маховые перья. После этого свиста больше не слышалось,

хотя циканье и трели раздавались по-прежнему. Но один такой эксперимент едва ли можно считать доказательным.

И еще один вопрос: до какого этапа гнездования продолжает самец танцы в небе? Моя дочь однажды наблюдала, как самец цикал в двадцати ярдах от гнезда с пустыми скорлупками. Но его ли даме принадлежало это гнездо? А может быть, скрытный танцор — просто двоеженец, хотя нам так и не удалось его разоблачить? Ответы на этот и еще на многие другие вопросы по-прежнему остаются тайной густеющих сумерек.

Небесный балет дается ежевечерне на сотнях ферм, собственники которых скучают по подобным зрелищам, но питают иллюзию, будто их можно увидеть только в театре. Они живут среди природы, но не природой.

Вальдшнеп — живое опровержение теории, будто вся польза от охотничьей птицы исчерпывается тем, что она служит мишенью для охотничьих ружей или изящно возлежит на ломтике поджаренного хлеба. Я всегда готов охотиться на вальдшнепов в октябре, но с тех пор, как я узнал про танцы в небе, с меня довольно одной-двух птиц. Я не хочу, чтобы в апреле в закатное небо взмывало меньше танцоров.

Май

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ АРГЕНТИНЫ

Когда одуванчики накладывают на висконсинские пастбища печать мая, наступает пора прислушиваться, не раздастся ли завершающий сигнал весны. Присядьте на кочку, вслушивайтесь в небо, отстройтесь от гомона луговых и болотных трупялов, и, быть может, вы вскоре услышите этот сигнал — полетную песню длиннохвостого песочника *, только что вернувшегося из Аргентины.

Если зрение у вас острое, устремите взгляд в небо, и вы увидите, как он, трепеща крыльями, кружит среди пушистых облаков. Но если вы близоруки, не пытайтесь искать его в вышине, а просто посматривайте на столбы изгороди. Вскоре серебряная вспышка подскажет вам, на какой столб опустился песочник, складывая свои длинные крылья. Тот, кто изобрел слово «грациозность», наверное, видел, как длиннохвостый песочник складывает крылья.

* Имеется в виду *Bartramia longicauda*. — Прим. ред.

Вот он сидит и всем своим видом требует, чтобы вы поскорее убрались из его владений. Пусть у вас есть документы, свидетельствующие, что этот луг — ваша законная собственность, песочник безмятежно игнорирует скучные юридические права. Он только что пролетел 4 тысячи миль, чтобы подтвердить титул на эту землю, который получил от индейцев, и до тех пор, пока молодые песочники не научатся летать, луг принадлежит ему, а непрошеным гостям делать тут нечего.

Где-то поблизости его подруга насиживает четыре крупных остроконечных яйца, из которых вскоре вылупятся четыре бойких птенца. Едва успевает обсохнуть их пушок, как они уже шныряют в траве, точно мышки на ходулях, и ловко ускользают от ваших неуклюжих рук, если вы пытаетесь их схватить. Через тридцать дней они уже совсем взрослые — ни одна охотничья птица не развивается с такой быстротой. В августе они заканчивают летную школу, и в прохладные ночи слышится их сигнальный пересвист — это они отправляются в дальний путь к пампе, вновь доказывая извечное единство Америк. Солидарность полушария — повинка для государственных деятелей, но не для пернатых небесных флотилий.

Длиннохвостый песочник легко приспосабливается к жизни на ферме. Он следует за черно-белыми «бизонами», которые ныне пасутся на его прерии, и считает их вполне приемлемой заменой бурых великанов былых времен. Он гнездится не только на пастбищах, но и на покосах, в отличие от неуклюжих фазанов не попадая под ножи косилки. Задолго до того, как приходит пора снокоса, молодые песочники успевают встать на крыло. В краю ферм у длиннохвостого песочника есть только два настоящих врага — овраг и осушительная канава. Возможно, недалек тот день, когда мы обнаружим, что они и наши враги.

В начале века висконсинские фермы чуть было не лишились своих вестников поздней весны, и майские луга тогда зеленели в безмолвии, а в августовские ночи не раздавался пересвист, возвещающий приближение осени. Вездесущие ружья взимали непомерную дань с новых выводков. Запоздалое введение федеральных законов об охране перелетных птиц спасло их, можно сказать, в самую последнюю минуту.

РЫБОЛОВНАЯ ИДИЛЛИЯ НА ОЛЬХОВОЙ ПРОТОКЕ

Как оказалось, вода в главном русле настолько убыла, что кулички бродили там, где в прошлом году на перекатах прыгала форель, и так прогрелась, что мы окунались в самую глубокую заводь, даже не взвизгнув. Но и после освежающего купания болотные сапоги дышали жаром, будто нагретый на солнце толь.

Вечернее ужение было именно таким огорчительным, как сулили эти предзнаменования. Мы просили у ручья форели, а он подсунил нам гольяна. Ночью мы сидели, обороняясь от комаров дымокуром, и обсуждали планы на завтра. Мы проделали двести миль по жарким пыльным дорогам, чтобы вновь почувствовать властный рывок обманувшейся в своих ожиданиях радужной или ручьевой форели, а их не было.

Однако тут мы вспомнили, что этот ручей не так прост, и выше по течению, почти у самых его истоков, мы однажды набрали на узкую глубокую протоку, которую питали ледяные ключи, бывшие в густом ольховнике. Как поступит уважающая себя форель в такую погоду? Точно так же, как и мы: поднимется выше по течению.

В утренней свежести, когда сотни сляков не желали вспоминать, что эта приятная прохлада не вечна, я сполз по росистому откосу и ступил в Ольховую протоку. Выше по течению как раз всплывала форель. Я вытравил леску, опять пожалев, что она не остается всегда такой же мягкой и сухой, и, раза два неверно оценив расстояние, наконец забросил измученного комара точно в футах перед форелью. Забыты были жаркие мили, комары, непотребный гольян. Она проглотила наживку одним могучим глотком, и вскоре я уже слышал, как она бьется в корзине на ложе из мокрых ольховых листьев.

Тем временем другая, даже еще более крупная рыба всплыла в следующей заводь, где обрывался «судоходный фарватер» — у ее верхнего кощца смыкалась стена ольхи. Деревце в самой струе течения содрогалось от непрерывного беззвучного смеха, словно по адресу той мушки, которую боги или люди рискнули бы закинуть на дюйм дальше его крайнего листа.

Докуривая сигарету, я сижу на камне посреди ручья и смотрю, как моя форель всплывает под защитой веток ольхи-хранительницы, а мое удище и леска сушатся, свисая с дерева на солнечном берегу. Благоразумие подсказывает: не торопись. Поверхность заводи слишком уж спокойна. Поднимается легкий ветерок, вскоре по ней побегит рябь и сделает еще более смертоносным крючок, который я сейчас заброшу с безупречной точностью.

И вот он — порыв ветра достаточно сильный, чтобы стряхнуть коричневую ночную бабочку со смеющейся ольхи и швырнуть ее на воду.

Внимание! Смотай сухую леску и встань на середине ручья, держа удище наготове. Вот оно! Осина на откосе забила в мелкой дрожи. Я вытравливаю леску наполовину и осторожно взмываю ею, готовясь к тому мигу, когда ветер взьерошит воду. Смотри, не больше половицы лески! Солнце поднялось уже высоко, и любая мелькнувшая сверху тень предупредит мою рыбу о грядущей ей судьбе. Ну! Стремительно разматываются последние три ярда, мушка изящно падает к подножию смеющейся ольхи... Схватила! Я напрягаюсь, чтобы не дать ей уйти в джунгли за ольхой. Она кидается вниз по течению. Еще минута — и она тоже бьется в корзину.

Я сижу в приятной неподвижности на моем камне, и пока леска снова сохнет, предаюсь размышлениям о форели и людях. Как похожи мы на рыб! Всегда готовы... нет, рады ухватить ту новинку, которую ветер обстоятельств стряхивает в реку времени! И как раскaiваемся в своей опрометчивости, обнаружив, что вызолоченная приманка скрывает крючок. И тем не менее, мне кажется, в этой радостной поспешности есть свое благородство, даже если нас манит мираж. Какими безнадежно скучными были бы абсолютно благоразумный человек, абсолютно благоразумная форель, абсолютно благоразумный мир! Неужели я действительно написал выше, что выжидал, подчиняясь голосу благоразумия? Нет, это было не так! Благоразумие рыбака в том, чтобы рисковать снова и снова — и, возможно, с меньшими шансами на успех.

Вот и теперь — пора! Они скоро перестанут подниматься к поверхности. Я бреду по псаю в воде к началу фарватера, дерзко засовываю голову под ветки трясущейся ольхи и осматриваюсь. Действительно джунгли! Выше по склону угольно-черную яму осеняет такой непроницаемый зеленый полог, что не только удищем, перышком папоротника не взмахнешь над ее стремительной глубиной. А в яме, чуть не задев плавником темный обрыв, крупная форель лепиво переворачивается и втягивает в рот зазевавшегося жучка.

Тут ее не взять — даже на презренного червяка. Но в двадца-

ти шагах дальше я вижу на воде яркий солнечный блеск — там заросли снова расступаются. Пустить мушку вниз по течению? Этого сделать нельзя, но это нужно сделать.

Я отступаю, карабкаюсь на берег и по шею в недотроге и крапиве продираюсь сквозь заросли ольхи к открытому месту выше по течению. С кошачьей осторожностью, чтобы не замутить ванну ее величества, вхожу в воду и на пять минут замираю, пока вновь не воцаряется полное спокойствие. Потом протираю, смазываю, сушу и сматываю на левую руку тридцать футов лески. Именно такое расстояние отделяет меня от портала джунглей.

Ну, рискнем! Я дую на мушку, чтобы распушить ее напоследок, кладу на воду у своих ног и быстро травлю леску кольцо за кольцом. Вот леска вытравлена вся, мушку затащило в джунгли, и я быстро иду вниз по течению, напряженно глядяваясь в темный туннель, чтобы проследить ее дальнейшую судьбу. Она мелькает в пятнышке солнечного света и беспрепятственно плывет дальше. Огибает мысок и в мгновение ока — задолго до того, как поднятая мною муть разоблачит уловку, — оказывается в черной заводи. Я не столько вижу, сколько слышу бросок огромной рыбы и весь напрягаюсь. Схватка началась.

Благоразумный человек побоялся бы лишиться мушки ценой в доллар, вываживая форель против течения сквозь гигантскую зубную щетку ольховника. Но, как я уже говорил, благоразумный человек настоящим рыболовом быть не может. Мало-помалу, все время потравливая леску, я вывожу форель на открытое место и в конце концов водворяю в корзину.

А теперь признаюсь вам, что ни одну из этих форелей не пришлось обезглавить или сложить пополам, чтобы они уместились в своем катафалке. Большим был не улов, а риск. И наполнил я не корзину, а свою память. Подобно славкам, я забыл, что утро на Ольховой протоке когда-нибудь кончится.

Июль

ВЕЛИКИЕ ВЛАДЕНИЯ

Площадь моих земельных владений составляет, согласно книгам нотариуса, сто двадцать акров. Но нотариус любит поспать и никогда не заглядывает в свои книги до девяти часов утра. А сейчас речь пойдет о том, что в них значится на рассвете.

Но о чем бы ни свидетельствовали книги, мы с моим псом твердо знаем, что на рассвете я — единственный владелец всей земли, по которой прохожу. Исчезают границы ферм, и для тебя вообще нет никаких границ. Просторы, не указанные ни в купчей, ни на карте, раскрываются для утренней зари, и безлюдье, которого якобы уже не найти в наших краях, простирается во все стороны, где только выпадает роса.

Как у всех крупных землевладельцев, у меня есть арендаторы. Арендную плату они не вносят, зато очень ревниво следят за неприкосновенностью своих участков. И каждый день на рассвете с апреля по июль они провозглашают в предупреждение остальным, где проходят рубежи их держаний, и тем самым косвенно признают себя моими вассалами.

Эта ежедневная церемония начинается — хотя вы, возможно, ожидали совсем другого — весьма чинно и даже чопорно. Я не знаю, кто и когда установил ее распорядок. В половине четвертого утра со всем достоинством, на какое человек способен в раннее июльское утро, я выхожу из дверей, держа в руках знаки моей монаршей власти — кофейник и блокнот. Я сажусь на скамью лицом к серебряному пимбу утренней звезды. Кофейник я ставлю возле себя и извлекаю из-за пазухи чашку, тихо надеясь, что никто не узнает о неортодоксальном способе доставки ее сюда. достаю карманные часы, наливаю кофе и кладу блокнот на колено. Это сигнал моим вассалам.

В три часа тридцать пять минут ближайший самец овсянки-крошки провозглашает звонким тенорком, что он держит сосняк к северу до реки и к югу до старого проселка. Один за другим все его сородичи в пределах слышимости указывают границы своих держаний. Споры не завязываются — во всяком случае, в эту пору суток, — и я только слушаю, в душе надеясь, что их подруг тоже удовлетворяет столь счастливое согласие относительно нынешнего положения вещей.

Овсянки еще не смолкли, а дрозд на большом вязе уже громко высвистывает свои права на обломанную снегопадом развилку ствола и на всю относящуюся к ней недвижимость и движимость (подразумевая всех земляных червей на соседней не слишком обширной лужайке).

Неумолчные трели дрозда будят иволгу, и вот она уже сообщает миру иволг, что большой сук вяза принадлежит ей, как и все стебли ваточника вокруг, все болтающиеся веревочки в огороде, а также исключительное право вспыхивать огнем, перепархивая между всем этим.

Мои часы показывают три часа пятьдесят минут. Самец синей овсянки на холме объявляет себя владельцем сухого дубового

сука — трофея засухи 1936 года, а также различных жучков и кустов по соседству. Хотя он прямо этого не утверждает, но, по-моему, он молча присваивает себе привилегию пережеголять синевой всех синих птиц и все цветки традесканции, повернувшие венчики навстречу ветру.

Затем разражается песней крапивник — тот, что обнаружил дырку от сучка в карнизе нашего дома. К нему присоединяются полдесятка других крапивников, и теперь уже стоит невообразимый гвалт. Толстоносы, пересмешники, желтые древесные славки, синие птицы, виреоны, тауи, кардиналы — все добавляют свою долю. Список исполнителей, в котором я старательно фиксирую порядок и время первой песни, замедляется, путается, обрывается, так как мой слух уже не способен различать, кто запел раньше, а кто — позже. К тому же кофейник пуст, а солнце вот-вот взойдет. И мне нужко обойти свои владения, пока они еще принадлежат мне.



И мы отправляемся — мой пес и я — куда глаза глядят. Он не обращал ни малейшего внимания на вокальную вакханалию, потому что для него границы держаний определяются не пением, а запахом. Любкой невежественный пучок перьев, говорит он, может пицать с дерева. А вот он переведет для меня благоухающие поэмы, которые начертали летней ночью неведомо какие безмолвные существа. В конце каждой поэмы прячется ее автор — если нам удастся его отыскать. А находим мы самое неожиданное и непредсказуемое: кропка, вдруг возжаждавшего очутиться в каком-нибудь другом месте; вальдшнепа, захоркавшего в знак отре-

чения; самца фазана, гневающегося на траву, которая намочила его крылья.

Изредка мы встречаем епота или норку, припозднившихся на ночной охоте. Порой мешаем цапле спокойно ловить рыбу или на-галкиваемся на каролинскую утку, которая со своим выводком мчится на всех парах под защиту понтедерии. Иногда мы видим, как олень неторопливо направляется назад в чащу, до отвала наевшись цветками люцерны, вероники и диким латуком. Но обычно мы видим только сплетающиеся темные полосы, оставленные ленивыми копытами на нежном шелке росы.

Я ощущаю тепло первых солнечных лучей. Птичий хор притомился. Дальний перезвон колокольцев сообщает, что стадо неторопливо бредет в луга. Рев трактора предупреждает, что мой сосед уже приступил к утренним трудам. Мир съезжился, вошел в жалкие границы, заверенные нотариусом. Мы поворачиваемся и идем домой завтракать.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРЕРИИ

От апреля до сентября каждую неделю начинают цвести в среднем десять диких растений. В июне на протяжении одного дня могут раскрыться бутоны целых двенадцати видов. Ни один человек не в силах принять участие в каждом из этих ежегодных праздников, ни один человек не в силах заметить их все. Того, кто не глядя ступает по майским одуванчикам, в августе может уложить в постель пыльца амброзии; у того, кто смотрит мимо багряной дымки апрельских вязов, машина может пойти юзом на опавших венчиках июньских катальп. Скажите мне, день рождения каких растений отмечает человек, и я расскажу вам много подробностей о его призвании, увлечениях, сенной лихорадке и общем уровне его экологической культуры.

Каждый июль я внимательно поглядываю на некое сельское кладбище, когда проезжаю мимо него по дороге на свою ферму и обратно. Приближается день рождения прерии, и в уголке кладбища еще живет одна из участниц этого некогда столь знаменательного праздника.

Кладбище как кладбище, обрамленное обычными елями, с обычными памятниками из розового гранита или белого мрамора и обычными воскресными букетами герани, алой или розовой,

у их подножия. От всех прочих оно отличается только формой — не квадратное, а треугольное, и еще тем, что в остром углу, образованном оградой, сохраняется крохотный остаток нетронутой прерии, такой, какой она была в сороковых годах прошлого века, когда тут появились первые могилы. С тех пор каждый июль на этом недоступном ни серпу, ни косилке квадратном ярде бывшего Висконсина высокие, в человеческий рост, стебли сильфии, которую называют еще компасным растением, покрываются желтыми, как у подсолнечника, цветами, величиной с блюдце. Больше нигде на всем



протяжении шоссе сильфии не увидишь — а возможно, она вообще исчезла в западной части нашего графства. Как выглядели тысячи акров сильфии, когда ее листья и цветы щекотали брюхо бизопов, — это вопрос, на который уже никогда нельзя будет ответить. А может быть, он даже и задаи никогда не будет.

В этом году сильфия зацвела 24 июля, на неделю позже обычного. Последние шесть лет цветение начиналось около 15 июля.

Когда я 3 августа вновь проехал мимо, дорожные рабочие сняли ограду кладбища, а сильфия была скошена. Предсказать будущее нетрудно: еще несколько лет моя сильфия будет с тщетным упорством расти, а затем, не выдержав борьбы с косилкой, погибнет. И вместе с ней погибнет эпоха прерий.

По сведениям управления шоссейных дорог, за три летние месяца, когда цветет сильфия, по этому шоссе ежегодно проезжает

100 тысяч машин, а следовательно, по меньшей мере и 100 тысяч человек, которые «учили» предмет, именуемый историей, причем 25 тысяч из них, вероятно, «учили» и предмет, именуемый ботаникой. Но из всех этих тысяч, я уверен, на сельфию смотрели от силы человек десять, а исчезновение ее заметит разве что один. Если бы я сказал священнику соседней церкви, что дорожные рабочие жгут на его кладбище исторические книги, делая вид, будто выкашивают бурьян, он поглядел бы на меня с недоумением. Бурьян — и исторические книги?

Это лишь крохотный эпизод в похоронах местной флоры, которые в свою очередь лишь эпизод в похоронах местной флоры по всему миру. Механизированный человек знать не знает никакой флоры и гордится успешной расчисткой земли, на которой он волею-неволею должен прожить свою жизнь. Пожалуй, стоит немедленно запретить преподавание истинной истории и истинной ботаники, чтобы никакой будущий гражданин нашей страны не почувствовал угрызений совести при мысли, что его приятная жизнь оплачена столь дорогой ценой.

В результате ферма считается хорошей в той мере, в какой на ее земле истреблена местная флора. Свою ферму я выбрал потому, что она не считается хорошей и не имеет шоссе. Собственно говоря, и она и ее окрестности затерялись в старице могучей реки Прогресс. Ведущая ко мне дорога — это проселок времен первопоселенцев, не знавший ни щебня, ни укатывания, ни грейдера, ни бульдозера. При мысли о моих соседях представитель местной администрации только вздыхает. Их живые изгороди не подстригаются годами, их болота не расчищаются и не осушаются. Если им надо выбирать, идти ли удить рыбу или идти в ногу с веком, они, как правило, берут снасть и отправляются на речку. В результате по субботам и воскресеньям мой флористический уровень жизни определяется возможностями почти не тронутой глуши, а по будним дням мне приходится кое-как существовать на флоре учебных ферм университета и примыкающего к нему пригорода. В течение десяти лет я развлекался тем, что записывал даты цветения диких растений в этих двух столь различных местностях.

Совершенно очевидно, что глаза фермера, живущего в глуши, получают питания почти вдвое больше, чем глаза университетского студента или преуспевающего дельца. Разумеется, оба последних просто неспособны видеть флору, а потому перед нами вновь встает вышеупомянутая альтернатива: либо поддерживать слепоту нашего населения, либо исследовать вопрос о том, нельзя ли совместить прогресс с растениями.

Число видов, зацветающих в	Пригород и университетский городок	Ферма в глуши
апреле	14	26
мае	29	59
июне	43	70
июле	25	56
августе	9	14
сентябре	0	1
всего питания для глаз	120	226

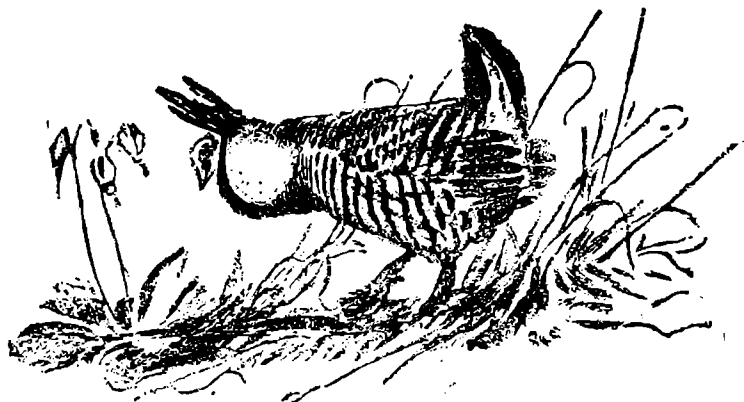
В оскудении флоры повинны три фактора — окультуривание земли, выпас скота в лесу и улучшение дорог. Каждое из этих необходимых изменений, естественно, требует заметного сокращения площадей, еще остающихся диким растениям, но ни одно из них не подразумевает полного уничтожения тех или иных видов на фермах или целых графствах и нисколько от такого уничтожения не выигрывает. На каждой ферме есть свои пустоши, и каждое шоссе по всей своей длине окаймлено двумя лентами петронутой земли. Не допускайте на эти пустоши коров, плуги и косилки, чтобы местная флора и десятки интересных пришельцев из иных стран могли стать частью нормального окружения каждого гражданина нашей страны.

По иронии судьбы наиболее выдающиеся хранители местной флоры прерий ничего о таких пустяках не знают и знать не хотят. Это — железные дороги с их огороженной полосой отчуждения. Ограды во многих местах ставились еще до того, как в прерию пришел плуг. И в этих узеньких заповедниках, несмотря на золу, копоть и ежегодные палы, флора прерий все еще блещет яркими красками своего календаря — от розового дряквешника в мае до голубых астр в октябре. Мне давно хочется предъявить какому-нибудь твердокаменному президенту железнодорожной компании столь наглядное доказательство его мягкосердечия. К сожалению, мне еще не довелось познакомиться ни с одним таким деятелем.

Железные дороги, конечно, пользуются огнеметами и гербицидами, чтобы уничтожать бурьян на путях, но стоимость этой бесспорно необходимой операции еще столь высока, что за пределами полотна она не проводится. Впрочем, может быть, уже назревает какая-нибудь рационализация. Мы оплакиваем только то, что хорошо знаем. Исчезновение сильфии в западной части графства

Дейи не может огорчить тех, для кого это — всего лишь название в ботаническом справочнике.

Сильфия стала для меня личностью, когда я попытался выкопать экземпляр и пересадить его к себе на ферму. Легче было бы выкопать дубовый саженец! После получаса тяжких усилий я убедился, что корень продолжает расширяться, точно поставленная вертикально огромная груша. Не исключено, что он добрался до коренной породы. Сильфии я так и не заполучил, но зато узнал, с помощью каких сложных подземных ухищрений она умудряется благополучно переживать засухи.



После этого я посеял семена сильфии — крупные, мясистые и вкусом смахивающие на семена подсолнечника. Они взошли очень быстро, но и через пять лет все еще не дали ни одного цветоноса. Возможно, чтобы достичь возраста цветения, сильфии требуется десять лет. Но в таком случае сколько же лет насчитывает моя любимица на кладбище? Пожалуй, она старше самого старинного из памятников, на котором стоит дата «1850 год». Может быть, она видела знаменитое отступление Черного Ястреба и его индейцев от Мадисонских озер к реке Висконсин — ведь она росла как раз на их пути. И уж конечно, она наблюдала похороны местных поселенцев, когда они, каждый в свой срок, обретали вечный покой под качающимися стеблями бородача.

Однажды я видел, как ковш экскаватора, копавшего природо-рожную канаву, рассек корень сильфии. Он вскоре дал стебель с листьями, а со временем и цветонос. Вот почему это растение, никогда не вторгающееся в новые уголья, тем не менее встречается на обочинах новых грейдерных дорог. Раз укоренившись, оно, по-видимому, способно выжить, как бы его ни калечили, и губи-

тельны для него только постоянная вспашка, скашивание и выпас коров.

Почему сильфия исчезает с пастбищ? Однажды я наблюдал, как фермер выпустил своих коров на луг, представляющий собой почти нетронутый уголок прерии, где прежде лишь изредка косили траву. Коровы выщипали сильфию, а остальных растений, казалось, даже не тронули. Бизоны в свое время тоже, возможно, предпочитали сильфию, но они вольно бродили по всей прерии, а не паслись на одном огороженном лугу. Иными словами, бизоны приходили и уходили, и сильфия успевала оправиться.

Тысячи видов растений и животных, истреблявших друг друга, чтобы мог возникнуть нынешний мир, были, к счастью для них, лишены ощущения истории, которым благое провидение не наградило и нас. Мало кто горевал, когда последний бизон покинул Висконсин, и мало кто будет горевать, когда последняя сильфия уйдет вслед за ним в сочные прерии заоблачной страны.

Август

ЗЕЛЕНОЕ ЧУДО

Некоторые картины становятся знаменитыми потому, что краски их непреходящи и в каждом новом поколении любителей живописи обязательно находятся глаза, которым они приятны.

Но мне известна картина столь эфемерная, что ее вообще редко кто видит, кроме проходящих мимо оленей. Пишет эту картину река, и та же река бесследно стирает ее, прежде чем я успеваю привести друзей, чтобы и они ею полюбовались. После этого она существует только в моей памяти.

Подобно многим другим художникам, моя река темпераментна, и невозможно предсказать заранее, когда на нее снизойдет вдохновение и долго ли оно продлится. Но в разгаре лета, когда один безупречный день сменяется другим и в небе величаво проплывают флотилии белых облаков, есть смысл пройтись по песчаным отмелям и поглядеть, не взялась ли она за кисть.

Для начала на песчаной косе тонким слоем наносится широкая полоса ила. Он медленно сохнет под горячими лучами солнца, и в мелких лужицах купаются чижи, а олени, цапли, зуйки, еноты и черепахи украшают его кружевом следов. Но пока еще нельзя сказать, будет ли продолжаться работа над картиной.

Если же я вижу, что полоса ила зазеленела болотницей, то начинаю следить все внимательнее, так как это означает, что реку посетило вдохновение. Чуть ли не за одну ночь болотница покры-

вает песок таким сочным и густым покровом, что полевки на соседних лугах не выдерживают искушения. Они всей оравой перебираются на зеленое пастбище и, по-видимому, все ночи напролет прокладывают ходы в его бархатных глубинах. Аккуратный лабиринт мышинных тропок свидетельствует о их радостном усердии. Олени разгуливают по этому ковру взад и вперед, словно им нравится чувствовать его под ногами. Даже домосед-крот прокладывает туннель под косой до полосы болотницы, где он может переворачивать и пагромождать зеленые комья, сколько его душе угодно.

И тут из сырого теплого песка под зеленой полоской начинают пробиваться бесчисленные ростки, еще слишком молодые, чтобы их можно было опознать.

Если хотите увидеть обещанную картину во всем ее великолепии, дайте реке еще три недели одиночества, а затем в ясное утро отправляйтесь на косу, едва солнце разгонит предрассветный туман. Художница уже наложила все нужные краски и обрызнула их росой. Еще более яркая зелень болотницы пестрит теперь голубым губастиком, розовым змееголовником и молочно-белыми цветками стрелолиста. Там и сям лобелия устремляет к небу свое красное копые. А у конца косы лиловая верония и бледно-розовый посконник подступают к стене ивняка. И если вы пришли тихо и благоговейно, как подобает приближаться к месту, которому красота даруется лишь на краткий час, то, может быть, увидите рыжего оленя, по колено утопающего в волшебном ковре.

Но не возвращайтесь, чтобы опять взглянуть на зеленое чудо: оно исчезнет. Либо вода отступит и все засохнет, либо она поднимется и отчистит песок до его прежней аскетической бледной желтизны. Однако вы можете сохранить картину в галерее своей памяти и лелеять надежду, что и в следующее лето на реку снизойдет вдохновение.

Сентябрь

ПОЮЩАЯ РОЩА

К сентябрю день пробуждается уже без птичьей помощи. Вяло заведет и тут же оборвет свою песенку певчая овсянка, свистнет вальдшнеп, улетаая в свою чашу, неясный завершит ночной спор последним дрожащим криком, но остальным птицам нечего сказать и не о чем петь.

Однако в такие туманные утра, на рассвете, можно иногда услышать перепелиный хор. Тишину внезапно нарушает десяток копт-

ральто, не в силах долее сдерживать восхваление грядущего дня. Но всего лишь через минуту пение обрывается столь же внезапно, как и зазвучало.

Есть что-то особое в пении птиц, которые прячутся от посторонних глаз. Певцов, распевających по вершинам, легко увидеть и легко забыть — очевидность всегда заурядна. А запоминается невидимый пестрый дрозд, чьи серебряные трели льются из непроницаемой тени, перелетный журавль, курлычущий за облаком, степной тетерев, гремящий в тумане. Ни один натуралист не видел поющего хора перепелов: певцы еще не покинули своего укромного ночлега, а при любой попытке подобраться к ним ближе мгновенно замолкают.

В июне нетрудно предсказать, что дрозд подаст голос, едва сила света достигнет 0,01 фут-свечи, и перечислить, в каком порядке остальные певцы будут присоединяться к общему гомону. Осенью же дрозд молчит, и невозможно угадать, зазвучит хор в траве или нет. Разочарование, которое я испытываю в безмолвные утра, показывает, насколько больше ценим мы то, на что лишь надеемся, чем то, что должны получить в любом случае. Надежда услышать перепелов стоит того, чтобы снова и снова вставать затемно.

На моей ферме осенью всегда есть по меньшей мере один перепелиный выводок, но рассветный хор звучит обычно где-нибудь вдалеке. Наверное, это потому, что перепела предпочитают ночевать подальше от моего пса, который интересуется ими даже еще более горячо, чем я сам. Однако как-то на октябрьской заре, когда я сидел, прихлебывая кофе у костра, хор запел на расстоянии броска камнем. Они ночевали в посадке веймутовых сосен — возможно, чтобы спастись от обильной росы.

Этот гимн заре, раздающийся почти у нашего крыльца, — великая честь для нас. Почему-то после этого голубая осенняя хвоя веймутовых сосен словно еще больше голубеет, а красный ковер ежевики у их подножий становится еще краснее.

Октябрь

ДЫМНОЕ ЗОЛОТО

Есть два рода охоты — обычная охота и охота на воротничкового рябчика.

Есть два места, где можно охотиться на воротничкового рябчика, — обычные места и графство Адамс.

Есть два времени охоты в графстве Адамс — обычное время и время, когда лиственницы окутаны дымным золотом. Все это пишется ради тех обойденных судьбой неудачников, кому никогда не доводилось, разинув рот и сжимая разряженную двустволку, смотреть, как кружат в воздухе золотые иглы, пока стряхнувшая их с веток оперенная ракета скрывается в соснах Банкса, целая и невредимая.

Лиственницы переодеваются из зеленого в желтое, когда первые заморозки уже пригнали с севера вальдшнепов, пестрогрудых овсянок и юнко. Стайки дроздов склеивают последние белые ягоды с дёрена, и оголенные веточки розовым облаком висят на склоне холма. Оляха у ручья сбросила листья и больше уже не склоняет падубов. Ежевика пылает багрянцем, освещая вам путь к стороне рябчиков.

Пес лучше вас знает, где находится эта сторона, и разумнее всего следовать за ним, читая по положению его ушей вести, которые ему приносит ветер. Когда он, наконец, замирает на месте и взглядом искоса предупреждает: «Готовься!», неясно только одно — к чему, собственно, готовиться? К свисту вальдшнепа, к грому крыльев рябчика или всего лишь к прыжку кролика? Этот миг неуверенности заключает в себе почти всю прелесть охоты на рябчиков. А тот, кому обязательно надо заранее знать, к чему готовиться, пусть идет охотиться на фазанов!

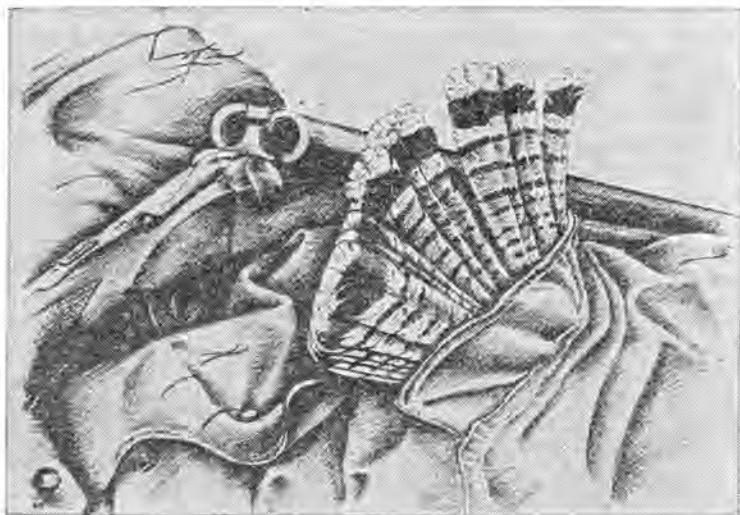
Охотам присущи разные оттенки вкуса, что объясняется очень тонкими причинами. Самые сладкие охоты — краденые. Чтобы украсть охоту, либо отправляйтесь в дебри, где прежде никто не бывал, либо найдите заповедное место у всех под носом.

Редкие охотники знают, что в графстве Адамс есть рябчики: проезжая по шоссе, они видят только пустыри, поросшие соснами Банкса и кустарниковыми дубами. Шоссе там пересекают текущие на запад ручьи, которые берут начало в болотах, но дальше вьются среди сухих песков. Естественно, что шоссе на север было проложено через эти песчаные пустоши, но к востоку от него, за сухими перелесками, прячется широкая полоса болота, идеальный приют для рябчиков.

Там, уединившись среди моих лиственниц, я сижу в октябре и слушаю, как по шоссе с ревом проносятся машины заядлых охотников, которые наперегонки мчатся в кишасие людьми графства дальше к северу. Я посмеиваюсь, представляя себе пляшущие стрелки их спидометров, напряженные лица, глаза, жадно устремленные вперед. И отвечая их шумным машинам, вызывающе гремит крыльями самец воротничкового рябчика. Мой пес ухмыляется

ся, и мы смотрим в ту сторону. Мы оба считаем, что этому молодчику полезно поразмяться,— сейчас мы им займемся.

Лиственницы растут не только на болоте, но и у подножия обрыва, где бьют питающие его ключи. Ключи прячутся в огромных подушках сырого мха. Я называю эти подушки висячими садами, потому что из их пропитанных водой глубин драгоценными камнями поднимаются к свету голубые венчики горечавок. Припудренная лиственничным золотом октябрьская горечавка стоит того, чтобы задержаться и долго смотреть на нее, даже когда пес дает понять, что рябчик совсем близко.



Между каждым висячим садом и берегом ручья тянется выложенная мхом оленья тропа, словно предназначенная для того, чтобы по ней шел охотник, а вспугнутый рябчик перелетал через нее за считанные доли секунды. И тут все сводится к тому, как птица и двустволка считают эти доли. Если результаты не совпадут, следующий олень, который пройдет по тропе, увидит две стреляные гильзы, которые можно обнюхать, и ни единого перышка вокруг.

Выше по течению ручья я выхожу к заброшенной ферме и пытаюсь по возрасту молоденьких сосенок, шагающих через бывшее поле, определить, давно ли злополучный фермер обнаружил, что песчаные равнины предназначены для того, чтобы культивировать

удинение, а не кукурузу. Непосвященным сосны Банка рассказывают всякие небылицы, потому что ежегодно дают не одну мутовку, а песколько. Более точен юный вяз, преградивший вход в коровник. Его кольца восходят к засухе 1930 года. С тех пор ни один человек не перестудал этого порога с подойником, полным молока.

Я стараюсь представить себе мысли и чувства этой семьи, когда проценты по закладной в конце концов превысили доход от урожая и им оставалось только ждать выселения. Одни мысли улетают, не оставляя следов, точно вспорхнувший рябчик, но отпечатки других сохраняются десятилетиями. Тот, кто в каком-то незабвенном апреле посадил вот этот сиреневый куст, должно быть, с удовольствием предвкушал его цветение во всех грядущих апрелях. А та, что каждый понедельник терла белье на этой почти уже гладкой стиральной доске, возможно, мечтала, чтобы все понедельники поскорее копчались раз и навсегда.

Погруженный в такие размышления, я вдруг замечаю, что все это время пес терпеливо продолжает делать стойку у журчащего ключа. Я подхожу к нему, извиняясь за свою рассеянность. Фрр! — летучей мышью вспархивает вальдшнеп, и его розовато-оранжевая грудь словно облита октябрьским солнцем. Так вот мы и охотимся.

В подобный день трудно сосредоточиться на рябчиках — слишком много интересного вокруг. Я патыкаюсь на оленьи следы в песке и из чистого любопытства иду вдоль них. Они ведут от одного куста цеанотуса прямо к другому, а ощипанные веточки объясняют почему.

Тут я вспоминаю, что и мне пора завтракать, но прежде чем я успеваю достать сверток из кармана для дичи, высоко в небе пачипает кружить ястреб, которого необходимо определить. Я дожидаясь, чтобы он сделал вираж и показал свой красный хвост.

Опять лезу в карман за свертком, но мой взгляд падает на тополь с ободранной корой. Здесь олень сдирал бархат со своих зудающих рогов. Давно ли? Обнаженная древесина уже побурела. Значит, рога теперь совсем очищены, решаю я.

И вновь хочу достать завтрак, но меня отвлекает возбужденный лай моего пса и треск кустов на болоте. Внезапно из них вырывается олень. Хвост его поднят, рога блестят, шерсть отликает голубизной. Да, тополь сказал мне правду.

Наконец, я извлекаю сверток и сажусь завтракать. За мной следит сишица и доверительно сообщает, что уже позавтракала. Чем именно, она не говорит. Возможно, матовыми муравьиными яйцами или другим каким-то птичьим эквивалентом холодного жареного рябчика.

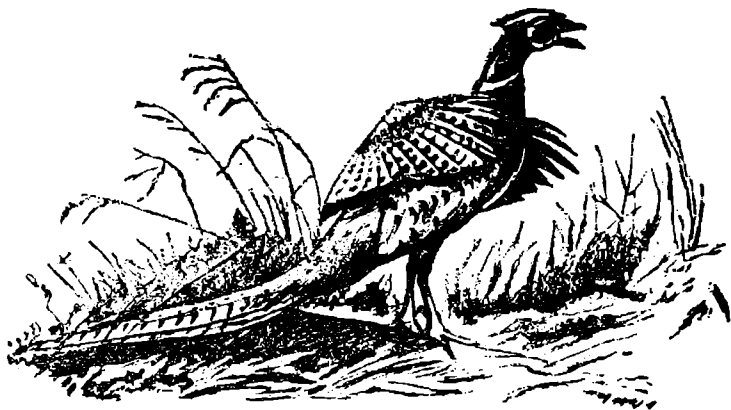
Кончив завтракать, я оглядываю фалангу молодых лиственниц, оставивших в небо свои золотые копыя. Под каждым осыпавшимся вчерашние иголки устилают землю дымно-золотым одеялом, на острие каждого сформировавшаяся завтрашняя почка ждет паступления следующей весны.

СЛИШКОМ РАНО

Вставать слишком рано — это порок, присущий филинам, звездам, гусям и товарным поездом. Некоторые охотники заражаются им от гусей, а некоторые кофейники — от охотников. Страшно, что из бесчисленного множества всевозможных существ, которые вынуждены вставать по утрам, лишь столь малая горстка открыла время, наиболее приятное и наименее полезное для этого.

Вероятно, первым учителем компании, встающей слишком рано, был Орион, ибо именно он подает сигнал к слишком раннему вставанию. Час этот настает, когда Орион проходит к западу от зенита на расстоянии, равном упреждению при выстреле по чирку.

Рано встающие чувствуют себя друг с другом спокойно и непринужденно — возможно, потому, что в отличие от тех, кто спит допоздна, они склонны преуменьшать свои свершения. Орион — путешественник, повидавший несравненно больше всех других, — вообще молчит. Кофейник тихонько булькает, поскольку не восхваляя то, что закипает внутри него. Филин трехсложным криком





более чем сдержанно излагает историю ночных убийств. Гусь на отмени, завершая какие-то неслышные гусиные дебаты, не позволяет себе даже намекнуть, что говорит от имени всех дальних холмов и моря.

Товарный поезд, бесспорно, отнюдь не умалчивает о своей важности, но и ему присуща скромность. Его глаз сосредоточен только на его собственном шумном занятии, и он никогда не врывается с ревом в чужой лагерь. Целеустремленность товарных поездов дарит ощущение глубокой надежности.

Прийти на болото слишком рано — значит дать волю ушам. Слух бродит, где хочет, среди ночных звуков, и ни руки, ни глаза не мешают ему сполна наслаждаться всяческими приключениями. Услышав, как где-то кряква упоенно хвалит свой суп, вы вправе представить две дюжины уток, кормящихся в ряске. Стоит крякнуть связи, и вы, не опасаясь возражений зрения, можете нарисовать себе целую их стаю. А когда эскадрилья нырков разрывает темный шелк небес, стремительно пикируя на заводь, вы, затаив дыхание, вслушиваетесь, но видите только россыпи звезд. Оказаться свидетелем такого маневра днем значило бы увидеть, выстрелив, промахнуться и поспешно подыскивать объективные причины. И дневной свет ничего не добавил бы к мысленному зрелищу трепещущих крыльев, которые аккуратно режут небесную твердь на две равные половины.

Час слушанья кончается, когда птицы улетают на бесшумных крыльях к широким безопасным плесам и каждая стая смутным мазком прочерчивает сереющий восточный горизонт.

Подобно многим другим договорам о ненападении, предрассветный пакт длится только до тех пор, пока темнота смиряет воинственность. Может даже показаться, будто в том, что с приходом дня сдержанность покидает мир, виновато солнце. Но как бы то ни было, к тому времени, когда забелеют висящие над низинами туманы, каждый петух уже хвалится, насколько хватает сил, и каждая кукурузная копна делает вид, будто такой высокой кукурузы свет еще не видывал. К восходу солнца каждая белка неистово бранится из-за воображаемого оскорбления по своему адресу, а каждая сойка с фальшивым волпением предупреждает о грозящей обществу опасности, которую она якобы сию минуту обнаружила. В отдалении вороны поносят гипотетическую сову только для того, чтобы показать всему миру, сколь бдительны вороны, а фазан, быть может, вспоминая свои прошлые галантные победы, бьет крыльями и хрипло оповещает окрестности, что все болото со всеми фазанками принадлежит ему.

И этой манней величия заражены не только дикие птицы и звери. Подходит час завтрака, и с пробуждающегося скотного двора доносится гогот, мычание, крики и свист, а ближе к вечеру где-то бормочет невыключенный радиоприемник. А потом все отходят ко сну, чтобы повторить уроки ночи.

КРАСНЫЕ ФОНАРИ

Охотиться па куропаток можно, разработав план на основе логики, теории вероятности и особенностей местности, где предстоит охота. Такой план должен привести вас туда, где положено быть птицам. Это один способ.

Но есть и второй способ: бродить, переходя от одного красного фонаря к другому. Так вы почти наверное окажетесь там, где действительно есть куропатки. Красные фонари — это листья ежевики, алеющие в лучах октябрьского солнца.

Красные фонари освещали мне путь на очень приятных охотах во многих уголках нашей страны, но, мне кажется, светить ежевика научилась в песчаных графствах центрального Висконсина. По берегам болотистых ручьев среди приветливых пустошей, которые называют бесплодными те, чьи собственные светильники едва мерцают, ежевика пылает красным пламенем в любой солнечный день после первых заморозков до последнего дня охотничьего сезона. Под защитой ее колючек у каждого вальдшнепа, у каждой куропатки есть свой личный солярий. Охотники, которые этого не знают — а их большинство, — выбиваются из сил в кустарнике без колючек и возвращаются домой без птиц, а мы, прочие, остаемся наслаждаться покоем.

«Мы» — это птицы, ручей, мой пес и я. Ручей очень ленив: он неторопливо петляет среди ольховника, словно предпочел бы остаться здесь, а не добираться до реки. И я тоже. Каждая его нерешительная пауза оборачивается еще одной крутой излучиной, где колючие заросли ежевики на склоне смыкаются с чащей замерзших папоротников и недотроги в болотистой пойме. Не найдется куропатки, которая могла бы противостоять прелести подобного места. И я тоже не могу. А потому охота на куропаток — это прогулка по ручью против ветра от одних зарослей ежевики к другим.

Пес, приближаясь к ним, оглядывается и проверяет, достаточно ли близко я для выстрела. Если все в порядке, он крадется

вперед, и его влажный нос вылавливает среди сотен запахов тот единственный, предположительное присутствие которого придает жизнь и смысл берегам ручья. Он — старатель, упорно обыскивающий воздушные слои в поисках обаятельного золота. Запах куропаток — это золотой стандарт, связывающий его мир с моим.

Мой пес, кстати, считает, что в отношении куропаток я порядочно-таки невежествен и мне пужно еще многому учиться. И как профессиональный натуралист, я с ним совершенно согласен. Он упорно, с хладнокровным терпением преподавателя логики пытается наставлять меня в искусстве истолкования сведений, которые получает тренированный нос. Я наслаждаюсь тем, как он воплощает в стойке вывод из данных, для него совершенно очевидных, по ускользающих от моего невооруженного взгляда. Быть может, он надеется, что его тупой ученик в один прекрасный день все-таки научится чують.

Как любой тупой ученик, я верю преподавателю, хотя и не понимаю, как он пришел к своему заключению. Я осматриваю дустволку и подхожу ближе. Как всякий хороший преподаватель, пес никогда не смеется, если я промахиваюсь, что вовсе не редкость. Он только бросает на меня выразительный взгляд и идет дальше по ручью в поисках еще одной куропатки.

Край берегового обрыва — это граница двух ландшафтов: склона холма, с которого охотишься ты, и поймы, в которой охотится пес. Очень приятно спугивать птиц с болотца, ступая по мягким сухим коврам плауна, и первым доказательством того, что собака — действительно охотник на куропаток, служит ее готовность рыскать в сырости, пока вы следуете за ней по сухому откосу.

Но когда пояс ольхи расширяется, собака исчезает из виду. Скорее поднимитесь на бугор или встаньте на выступе над обрывом и, сохраняя полную неподвижность, напрягайте слух и зрение, чтобы обнаружить, где она находится. Вон вспорхнули славки — значит, она там. А может быть, вы услышите, как треснул сучок под ее лапой, как она зашлепала по воде или прыгнула в ручей. Но если все звуки замерли, будьте наготове — скорее всего она сделала стойку. Теперь ждите квохтанья, которое издает испуганная куропатка перед тем, как взлететь. Тут же вверх стремительно взмывает птица, а может быть, и две. У меня был даже случай, когда целых шесть куропаток проквохтали одна за другой, взмыли вверх и полетели восвояси — каждая в свою сторону. Окажется ли хоть одна птица на расстоянии выстрела — это, конечно, вопрос случая, и если у вас есть время, вы можете рассчитать свой шаг: 360° разделить на 30° , то есть на тот сектор круга, который держит под прицелом ваша дустволка. Результат

разделите на 3 или на 4 (ваш шанс промахнуться), и вы узнаете, какова вероятность того, что вы вернетесь с добычей.

Второе доказательство надежности вашей собаки вы получите, если после подобного эпизода она вернется за новыми распоряжениями. Сядьте и обсудите с ней случившееся, пока она переводит дух. Потом отыщите еще один красный фонарь и продолжайте охоту.

Октябрьский ветер приносит моему псу много всяких запахов, кроме запаха куропаток, и каждый обещает особый эпизод. Когда пес делает стойку, но его уши выражают легкую насмешку, я знаю, что он обнаружил залегшего кролика. А однажды абсолют-но серьезная стойка не вспугнула ни единой птицы, но пес стоял как каменный — среди осоки у самого его носа спал жирный енот, получая свою долю октябрьского солнца. И по меньшей мере один раз на протяжении каждой охоты он облаивает скунса, обычно в особенно густых зарослях ежевики. Как-то он сделал стойку посреди ручья — шум крыльев и три музыкальных крика объяснили мне, что он прервал обед каролинской утки. Нередко он обнаруживает в густом ольховнике бекаса, и, наконец, он может вспугнуть оленя, укрывшегося до вечера на обрывистом берегу над трясиной. Питает ли олень поэтическую слабость к пению воды или практично выбирает место для дневки, к которому невозможно подкрасться бесшумно? Судя по негодующему подергиванию хвоста, верно может быть либо то, либо другое, либо и то и другое вместе.

По дороге от одного красного фонаря до следующего может случиться почти все, что угодно.

На закате последнего дня охотничьего сезона все ежевичники гасят свои фонари. Мне непонятно, откуда у простого растения такая осведомленность в охотничьих законах штата Висконсин, но я никогда не приходил туда на другой день, чтобы разобраться в этом. И следующие одиннадцать месяцев фонари горят только в воспоминаниях. Иногда мне кажется, что остальные месяцы введены главным образом для того, чтобы служить достойной интерлюдией между двумя октяблями, и я подозреваю, что собаки, а может быть, и куропатки думают точно так же.

Ноябрь

БУДЬ Я ВЕТРОМ

Ветер, творящий музыку в ноябрьской кукурузе, торопится. Гудят стебли, пустые обертки початков чертят в воздухе прихотливые дуги, а ветер уже улетел.

На болоте длинные ветровые волны катятся по травам и разбиваются о дальние ивы. Дерево пытается спорить, машет оголенными ветвями, но разве удержишь ветер?

На косе — только ветер, да рядом река, струящая свои воды к морю. Каждый пучок травы чертит кружки по песку. Я иду через косу к принесенному рекой бревну, сажусь и слушаю всеобъемлющий шум ветра и звонкие всплески крохотных волн у моих ног. Река безжизненна: ни утки, ни цапли, ни полевого луня, ни чайки — все птицы до единой попрятались от ветра.



Из туч доносится приглушенный лай, словно где-то далеко подала голос собака. Удивительно, как весь мир настораживает уши при этом загадочном звуке. Но вот он становится громче — это кричат гуси: их не видно, но они летят сюда.

И из-за пизких туч появляется стая — колышущееся рваное знамя из птиц. Ветер швыряет их вверх и вниз, бросает друг к другу, разбрасывает в стороны, ласково теревит каждое машущее крыло. Но они летят и летят вперед. Когда стая превращается в смутное пятно на краю неба, до меня доносится последний крик, эхо далекого лета.

За кучей плавника становится тепло, потому что ветер умчался догонять гусей. И я бы тоже умчался, будь я ветром.

С ТОПОРОМ В РУКАХ

«Господь дает и господь берет», но он давно уже не единственный, кто дает и берет. Когда наш дальний пращур придумал лопату, он стал дающим — ведь он мог посадить дерево. А придумав топор, он стал берущим — ведь он мог срубить это дерево. Вот почему тот, кто владеет землей, присваивает — возможно, сам того не подозревая — божественные функции сотворения и уничтожения растений.

Другие наши предки, не столь уж отдаленные, напридумывали множество орудий, но при ближайшем рассмотрении любое из них оказывается или усложнением исходной пары, или дополнением к ней. Мы разделяем себя по профессиям и в зависимости от этого либо используем определенное орудие, либо продаем его, либо чиним, либо затачиваем, либо даем указания, как это сделать. Благодаря такому разделению труда мы снимаем с себя ответственность за неправильное использование любого орудия, кроме нашего собственного. Но существует одна профессия — философия, — которая учит, что все люди через свои мысли и желания в конечном счете используют все орудия. А потому характер мыслей и желаний людей определяет, стоит ли вообще пользоваться орудиями.

Ноябрь по многим причинам — месяц топора. Еще настолько тепло, что можно точить топор, не замерзая, но уже достаточно холодно, чтобы валить деревья, не обливаясь потом. Листья облетели, и хорошо видно, как переплетаются ветки и насколько поднялись

верхушки с прошлого лета. А без такого осмотра невозможно определить, нужно ли срубить какое-нибудь дерево ради пользы земли вокруг.

Я читал немало определений, что такое активный сторонник сбережения природы, и сам написал их немало, однако, мне кажется, лучшее из них пишется не пером, а топором. Суть заключается в том, о чем думает человек, рубя или решая, что рубить. И активный сторонник сбережения природы — это тот, кто со всем смирением сознает, что каждым ударом топора он ставит свою подпись на лице земли. Подписи, разумеется, бывают всякие, выходят ли они из-под пера или из-под топора, и это естественно.

Я испытываю неловкость, задним числом анализируя решения, которые принимал с топором в руках. Во-первых, оказывается, что не все деревья сотворены свободными и равными. Там, где береза и веймутова сосна мешают друг другу, я заранее пристрастен и всегда срубая березу. Почему?

Ну, прежде всего, сосну посадил я с помощью моей лопаты, а береза пролезла под забором и сама себя посадила. Таким образом, мое пристрастие в какой-то мере носит родительский характер; но дело отнюдь не только в этом: будь сосна таким же диким сеянцем, как береза, я дорожил бы ею даже еще больше. А потому в поисках логического обоснования моего пристрастия — если оно вообще обосновано — следует копать глубже.

Берез в наших краях много и становится все больше, сосна же редкое дерево и продолжает исчезать. Возможно, я просто сочувствую слабому. Ну, а как бы я поступил, находишь моя ферма севернее, где сосен много, а берез мало? Право, не знаю. Ведь моя ферма здесь.

Сосна проживет столетие, береза — лишь половину этого срока. Опасаюсь ли я, что моя подпись исчезнет? Мои соседи не сажали сосен, но у всех у них много берез. Может быть, моему тщеславию льстит, что мой участок выделяется среди остальных? Сосна остается зеленой всю зиму, береза вешает табель в октябре. Может быть, я симпатизирую дереву, которое, подобно мне, не страшится зимних ветров? Сосна служит приютом рябчику, но береза его кормит. Может быть, я считаю, что кров важнее стола? Сосна в конечном итоге принесет десять долларов на тысячу, береза — два. Может быть, я думаю о своем счете в банке? Все эти предполагаемые основания для моего пристрастия как будто что-то весят, но ни одно из них не весит много.

А потому я вновь начинаю искать причину. Пожалуй, вот что: под этой сосной когда-нибудь вырастет эпигея, вертляница, грушанка или линнея, а под березой можно в лучшем случае на-

деяться на осеннюю горечавку. В сосне рано или поздно выдолбит себе гнездо хохлатый дятел, а с березы хватит и волосатого. Сосна будет петь мне в апреле на ветру, когда береза только стучит голыми ветками. Такие основания для моего пристрастия весят немало, но почему? Может быть, сосна сильнее будит мое воображение и надежды? А если так, заключена ли причина в деревьях или во мне самом?

В конце концов я пришел только к одному выводу: я люблю все деревья, но в сосны я влюблен.

Как я уже говорил, ноябрь — это месяц топора, и, как всегда в любви, пристрастие не должно быть слепым. Если береза растет к югу от сосны и выше ее, весной она будет затенять ее верхинный побег и тем мешать смолевкам откладывать в нем яйца. Конкуренция березы — пустяки по сравнению со смолевкой, чье потомство убьет верхинный побег и навсегда изуродует дерево. Интересно поразмыслить над тем, как привычка этих жуков греться на солнце определяет не только выживание их как вида, но и будущую форму моей сосны, а также успех усилий моей лопаты и топора.

Опять-таки, если я уберу тень березы, а лето выдастся засушливое, то перегрев почвы может оказаться для моей сосны вреднее конкуренции из-за влаги, и она несколько не выиграет из-за моего пристрастия.

И наконец, если ветки березы на ветру трутся о верхинные побеги сосны, она, несомненно, будет искалечена, а потому либо придется убрать березу, невзирая на прочие соображения, либо каждую зиму обрубать ее ветки чуть выше того предела, какого может достичь за лето сосна.

Вот какие «за» и «против» должен предвидеть и взвешивать тот, кто держит топор. И тогда он может быть уверен, что его пристрастие не сведется всего лишь к добрым намерениям.

А ведь пристрастий у него столько, сколько на его ферме растет деревьев. С течением времени, реагируя на красоту и полезность каждого вида и на то, как каждый вид реагирует на его труды в пользу этого вида или во вред ему, он начинает приписывать им целый ряд свойств, которые складываются в характер. Меня каждый раз изумляет, насколько разными характерами наделяют разные люди одни и те же деревья.

Так, я люблю осину за то, что она украшает октябрьскую пору, а зимой кормит моих рябчиков, но некоторые соседи видят в ней лишь вредный сорняк — возможно, потому, что она так буйно заполоняет участки, расчищенные их дедами. (И я не могу в ответ презрительно пожать плечами: ведь я сам ловлю себя на неприязни к вязам, чьи новые побеги угрожают моим соснам.)

Опять-таки всем деревьям, кроме сосны, я предпочитаю лист-

венницу — то ли потому, что в наших краях она почти исчезла (пристрастие, опирающееся на сочувствие к слабому), то ли потому, что она осыпает золотом октябрьских рябчиков (пристрастие, опирающееся на любовь к охоте), то ли потому, что она окисляет почву и тем помогает вырасти прелестнейшей из наших орхидей, очаровательному венерину башмачку. С другой стороны, лесничие предали лиственницу анафеме, потому что она растет слишком медленно, чтобы приносить сложные проценты. А в подкрепление они ссылаются еще и на то, что лиственницы периодически подвергаются нашествию пилильчиков, но у моих лиственниц в запасе еще пятьдесят лет, так пусть из-за этого волнуется мой внук. А тем временем мои лиственницы растут так энергично, что я только радуюсь.

Древний тополь для меня — замечательнейшее из деревьев, потому что в молодости он укрывал в своей тени бизонов и носил нимб из странствующих голубей, а молодой тополь нравится мне потому, что когда-нибудь и он, возможно, станет древшим. Однако жена фермера (а с ней и фермер) терпеть не может тополя из-за вездесущего июньского пуха. Девиз современности — комфорт любой ценой.

Пристрастий у меня заметно больше, чем у моих соседей, так как я питаю симпатию ко многим отдельным видам, которые они пренебрежительно объединяют под общим названием «кусты». Мне, например, нравится бересклет, отчасти потому, что олени, кролики и полевки с великим удовольствием поедают его угловатые веточки и зеленую кору, а отчасти потому, что его лилово-бордовые ягоды кажутся такими яркими и теплыми на фоне ноябрьского снега. Мне нравится красный дёрен, потому что он кормит в октябре дроздов, а желтое дерево — потому, что мои вальдшнепы принимают ежедневную солнечную ванну под защитой его колючек. Мне нравится лещина, потому что ее октябрьский багрянец насыщает мои глаза и потому что ее ноябрьские сережки насыщают моих оленей и рябчиков. Мне нравится сладко-горький паслен, потому что он нравился моему отцу и еще потому, что каждый год 1 июля олени внезапно начинают ошипывать его молодые листочки и я завел привычку предсказывать это событие моим гостям. Как может внушать мне неприязнь растение, благодаря которому я, всего лишь университетский профессор, ежегодно снискиваю лавры истинного ясновидца и пророка!

Несомненно, наши симпатии и антипатии к растениям — в какой-то мере дань традициям. Если ваш дед любил орехи гикори, то вам будет нравиться гикори, потому что отец рассказывал вам, какое это хорошее дерево. Если, наоборот, ваш дед сжег чурбак, обвитый плетью сумаха, и опрометчиво постоял в

его дыму, вы будете питать к сумаху неприязнь, какими бы алыми и малиновыми оттенками ни грел он ваш взор каждой осенью.

И столь же несомненно, что эти симпатии и антипатии отражают не только наши профессии, но и наши влечения, причем вопрос о пальме первенства решается деликатно, поскольку здесь затрагивается вопрос о трудолюбии и праздности. Фермер, который предпочитает охотиться на рябчиков вместо того, чтобы доить коров, не может не любить боярышника, хотя тот и вторгается в его дуга. Охотник на енотов не может не любить липу, и я знаком с охотниками на перепелов, которые не питают злобы к амброзии, несмотря на ежегодные приступы сенной лихорадки. Наши пристрастия — это поистине очень тонкий индикатор наших привязанностей, наших вкусов, нашей верности долгу, нашей природы душевной и нашей манеры транжирить свободное время.

Но как бы то ни было, в ноябре я рад транжирить его с топором в руках.

МОГУЧАЯ КРЕПОСТЬ

Каждый участок леса должен давать своему владельцу не только доски, дрова и столбы, но еще и образование. Этот урожай мудрости всегда под рукой, однако его не всегда пожинают. Тут я излагаю несколько уроков, которые преподавал мне мой собственный лес.

Когда я десять лет назад купил лес, то чуть ли не сразу убедился, что приобрел почти столько же всяких древесных болезней, сколько деревьев. Мой участок был поражен всеми недугами, каким только подвержен лес. Я поругивал Ноя за то, что, нагружая ковчег, он не забыл болезни деревьев на берегу. Однако вскоре стало ясно, что эти же самые болезни превратили мой лес в могучую крепость, не имеющую соперниц в наших краях.

Мой лес служит квартирой для семейства енотов, а у моих соседей их не найти. И как-то в ноябрьское воскресенье, когда выпал первый снег, я узнал почему. Свежий след охотника на енотов и его собаки привел меня к рухнувшему клену, под вывороченными корнями которого укрылся один из моих енотов. Мерзлый бастион из корпей и земли не поддавался ни топору, ни лопате, а нор и ям между корнями было такое множество, что выкурить зверя не стоило и пытаться. И охотник остался без енота, потому что болезнь ослабила корни клена. Дерево, вывороченное бурей, служит

енотам неприступной крепостью. Не будь в их распоряжении такого бомбоубежища, мои запасы енотов истощились бы за одну зиму.

В моем лесу живет около десятка воротничковых рябчиков, но на время сильных снегопадов мои рябчики откочевывают в лес соседа, где укрытия лучше. Однако у меня всегда остается столько рябчиков, сколько успели сломать дубов летние бури. Упавшие на землю верхушки не теряют засохших листьев, и в дни снегопадов каждая из них служит приютом рябчику. Как показывает помет, во время метели рябчик спит, кормится и предается безделью в тесных пределах своего естественного шалаша, где ему не грозят ни ветер, ни совы, ни лисицы, ни охотники. Провяленные дубовые листья не только служат отличным кровом: по какой-то странной причине рябчики считают их еще и деликатесом.

Разумеется, ветер ломает только больные деревья. Не будь болезней, редкий дуб терял бы свою вершину, и, следовательно, лишь редкий счастливчик среди рябчиков получал бы надежный зимний приют.

Больные дубы обеспечивают рябчиков еще одним деликатесом — дубовыми галлами. Галл — это опухоль на молодом побеге, в который, пока он был нежным и сочным, отложила яйцо орехотворка. В октябре мои рябчики просто наштигованы дубовыми галлами.

Каждый год дикие пчелы заполняют сотами какой-нибудь из моих дуплистых дубов, и каждый раз браконьеры успевают забрать мед прежде меня. Отчасти дело тут в том, что они лучше меня умеют находить пчелиные деревья, а отчасти — в том, что они пользуются сетками и им не приходится ждать осени, когда пчелы становятся сонными. Но без грибов, вызывающих гниение древесины, не было бы дуплистых дубов и дикие пчелы не имели бы естественных дубовых ульев.

Когда в цикле колебаний численности кроликов наступает пик, они наводняют мой лес, объедая кору и побеги почти всех деревьев и кустов, которыми я дорожу, и отворачиваясь от тех, без которых я был бы непрочь обойтись. (Когда охотник на кроликов сажает сосны или разбивает яблоневый сад, кролики из дичи становятся вредными тварями.)

Несмотря на свой неразборчивый аппетит, кролик по-своему взыскательный гурман. Он неизменно предпочитает посаженные сосны, клены, яблони и бересклет их дикорастущим собратьям. Кроме того, он отказывается откусывать некоторые салаты, если они не приготовлены по-особому. Так, например, он презрительно проходит мимо дёрена, пока за работу не возьмутся яблоневые



щитовки, но уж тогда кора дёрена превращается в лакомство и все окрестные кролики накидываются на нее с жадностью.

Стайка из десятка синиц живет в моем лесу круглый год. Зимой, когда мы валим больные или сухие деревья, синицы слетаются на удары топора, точно это колокол, созывающий их к трапезе. Они устраиваются неподалеку и в ожидании, пока дерево упадет, нахально поругивают нас за медлительность. Когда дерево, наконец, повалено и клинья начинают обнажать его содержимое, синицы закладывают за воротник белые салфетки и приступают к банкету. Каждый отвалившийся кусок сухой коры для них блюдо, полное яиц, личинок и куколок, а иссверленная муравьями сердцевина — настоящая скатерть-самобранка. Мы частенько прислоняем расколотое полено к соседнему стволу, чтобы полюбоваться, как эти лакомки выклеивают муравьиные яйца. Мысль, что они, как и мы, извлекают пользу и удовольствие из душистой сокровищницы только что напиленных и наколотых дубовых дров, облегчает наш труд.

Если бы не болезни и не насекомые-вредители, эти деревья вряд ли служили бы кладовой, и тогда синицы не оживляли бы зимой мой лес.

Жизнь многих обитателей леса зависит от болезней деревьев. Мои хохлатые дятлы долбят живые сосны, чтобы добраться до личинок в гниющей сердцевине. Мои неясны укрываются от наскоков вороп и соек в старой дуплистой липе. Если бы не это



изъеденное болезнью дерево, их вечерние серенады, возможно, смолкли бы навсегда. Мои каролинские утки гнездятся в дуплах — и каждый июнь на моем лесном болоте появляются выводки пушистых утят. Все белки обзаводятся постоянным жилищем только благодаря тому, что между гниением древесины и разрастанием раневой ткани, которой дерево пытается затянуть рану, существует хрупкое равновесие. Белки вмешиваются в это состязание, выгрызая раневую ткань, когда она слишком уж суживает их парадную дверь.

Главная же драгоценность моего изъеденного болезнями леса — это золотистая древесница. Для своего гнезда она выбирает старое дупло дятла или другую небольшую пустоту в сухом стволе, торчащем над водой. Ее синее с золотом оперение, вдруг вспыхивает в сырой гнилости июньского леса, уже само по себе доказывает, что мертвые деревья преобразуются в живых животных и наоборот. Если вы сомневаетесь в разумности такого устройства, поглядите на мою древесницу.

Декабрь

ДОМАШНИЕ ПРЕДЕЛЫ

Дикие существа, обитающие на моей ферме, предпочитают не сообщать мне прямо, какую часть моих владений они включают в свой дневной или ночной обход. А мне это интересно — ведь тогда я мог бы вывести соотношение размеров их мира и моего и взяться за решение куда более важного вопроса: кто из нас лучше и подробнее знает мир, в котором обитает?

Люди нередко выдают своими поступками то, что не пожелали объяснить словами. За моих животных говорят их действия. Однако трудно угадать заранее, когда удастся таким способом проникнуть в их секреты.

Псу топора в лапы не дашь, а потому он может вволю поохотиться, пока мы, все остальные, заняты рубкой дров. Внезапное пронзительное «йип-йип-йип!» оповещает нас, что поднятый с травяного ложа кролик торопится переменить место отдыха. Он бежит по прямой к поленнице в четверти мили отсюда и пыряет между двумя штабелями дров, опередив своего преследователя на ружейный выстрел. Пес оставляет два-три символических следа своих



зубов на твердых дубовых поленьях и отправляется на поиски не столь бдительной добычи, а мы вновь беремся за топоры.

Из этой маленькой интерлюдии следует, что кролик прекрасно знает всю местность между своим ложем на лугу и бункером под поленицей. А то как бы он бежал по прямой? Таким образом, участок обитания этого кролика охватывает не меньше четверти мли.

Каждую зиму мы ловим и окольцовываем синиц, которые посещают нашу кормушку. Некоторые наши соседи тоже подкармливают синиц, но не кольцуют их. Установив, на какой самой дальней точке от нашей кормушки можно увидеть окольцованных синиц, мы узнали, что зимой участок обитания нашей стайки простирается на полмили, но включает только места, укрытые от ветра.

Летом, когда стайка распадается для гнездования, окольцованные птицы попадают на заметно больших расстояниях и часто образуют пары с неокольцованными. В это время года синицы не обращают внимания на ветер: их часто можно видеть там, где от него нет никакой защиты.

Наш лес пересекает свежий след трех оленей, четко отпечатавшийся на вчерашнем снегу. Я иду по следу в обратную сторону и пахожу их дневку — три не припорошенных снегом ложа в густом ивняке на косе.

Потом я иду по следу вперед. Он приводит меня на кукурузное поле соседа, где олени выкапывали из-под снега неубрашенные стебли, а кроме того, растрепали одну из копен. Затем след другим путем возвращается на косу. По дороге олени разрывали копытами дерн и тыкались в него посом в поисках нежных молодых по-

бегов, а потом напились у ключа. Картина их ночных походов мне ясна. Расстояние от места дневки до места завтрака составляет милю.

В нашем лесу всегда есть рябчики. Но однажды прошлой зимой, после того как выпал мягкий глубокий снег, мне не удалось обнаружить ни единого рябчика и ни единого их следа. Я уже решил, что мои птицы куда-то откочевали, но тут пес сделал стойку у покрытой сухими листьями вершины дуба, которую буря обломала и швырнула на землю летом. Один за другим оттуда вылетели три рябчика.

Ни под вершиной, ни возле нее не было никаких следов. Значит, рябчики вылетели под ветки, но откуда? Рябчики должны есть, тем более в холодную погоду, а потому я исследовал помет. Среди множества неопознаваемых остатков я обнаружил чешуйки почек и крепкую желтую кожицу замерзших ягод паслена.

Я пошел туда, где летом заметил в чаще молодой кленовой поросли густо разросшийся паслен, и после некоторых поисков увидел следы рябчика на упавшем стволе. Птицы ходили не по мягкому снегу, а только по бурелому и склевывали ягоды, до которых могли дотянуться со ствола. От этого места до сломанного дуба было четверть мили.

Вечером перед закатом я увидел рябчика, клевавшего почки на тополях в четверти мили к западу. Последний пробел в истории был восполнен. Пока снег оставался мягким, птицы передвигались в пределах своего участка только на крыльях, а поперечник его равнялся полумиле.

О таких участках наука знает мало — о том, каковы их размеры в различное время года, какой корм и какие укрытия должны они включать, когда и как защищаются от вторжения чужаков, а также владеет ли ими одна особь, семья или группа. Это основные моменты экономики животного мира, то есть экологии. Любая ферма представляет собой учебник экологии животных, и наблюдать, изучать, сравнивать — значит переводить его на язык людей.

СОСНЫ ПОД СНЕГОМ

Акт творения принято считать уделом богов и поэтов, однако простые смертные при желании могут приобщиться к сонму избранных. Например, для того, чтобы посадить сосну, не нужно быть

ни богом, ни поэтом — для этого нужна только лопата. Благодаря такой лазейке в правилах любой земледелец может сказать: «Да будет дерево!» — и будет дерево.

Если спина у него крепкая, а лопата острая, деревьев может стать в конце концов и десять тысяч. И на седьмой год он может опереться на свою лопату, и посмотреть на свои деревья, и увидеть, что это хорошо весьма.

Бог вынес такое суждение о своих трудах уже на седьмой день, но я замечаю, что с тех пор он воздерживался от дальнейших похвал. Насколько я понимаю, он либо высказался преждевременно, либо деревья менее уязвимы для критических взглядов, чем фиговые листочки и тверди.

Почему лопата считается символом скучного оупляющего труда? Возможно, потому, что лопаты по большей части тупы. Несомненно, у тех, кому копать скучно, лопаты всегда тупые, но я не берусь решать, что здесь причина, а что следствие. Я знаю одно: стоит как следует пройтись по краю хорошим напильником — и моя лопата поет, врезаясь в суглинок. Говорят, есть музыка в остром рубанке, в острой стамеске, в остром скальпеле, но я слышу ее в лопате, звенящей в моих ладонях, когда я сажаю сосну. Наверное, субъект, который с такими потугами пытался извлечь чистую ноту из арфы времени, выбрал слишком трудный инструмент.

Хорошо, что сажать сосны можно только весной, — умеренность всегда благо, даже если речь идет о лопатах. А в прочие месяцы можно наблюдать процесс становления сосны.

Новый год сосны начинается в мае, когда верхушечная почка становится «свечой». Тот, кто придумал такое название для нового побега, обладал немалой душевной тонкостью. Слово «свеча» звучит как банальное определение очевидных свойств — новый побег восковиден, вертикален и ломок. Но тот, кто живет среди сосен, знает, что это вовсе не так поверхностно и просто: свеча несет на верхнем своем конце негасимый огонек, освещающий путь в будущее. Май за маем мои сосны поднимают свои свечи в небо, и каждая устремляется прямо к зениту, и каждая убеждена, что дотянется туда, если только ей достанет времени, прежде чем прозвучит трубный глас. Только очень старая сосна в конце концов забывает, какая из ее свечей самая главная, и разметывает свою крону по небу. Забыть можете и вы, но при вашей жизни ни одна из посаженных вами сосен этого не забудет.

Если вы по натуре бережливы, то найдете в соснах единомышленниц: в отличие от лиственных деревьев они никогда не тратят текущих заработков, а живут исключительно на сбережения

прошлого года. Собственно говоря, банковский счет каждой сосны открыт для всеобщего обозрения, и 30 июня подводится его годовой баланс. К этому дню завершается рост свечи, и если она несет розетку из десяти-двенадцати верхушечных почек, значит, сосна накопила достаточно дождя и солнца, чтобы следующей весной рвануться в небо на два, а то и на три фута. Если же почек четыре-шесть, рыбок окажется покороче, но и у этой сосны будет тот особый вид, который говорит о платежеспособности.

Разумеется, у сосен, как и у людей, бывают тяжелые годы, и они регистрируются укороченными рывками, то есть меньшими расстояниями между двумя мутовками. Другими словами, эти расстояния представляют собой автобиографию сосны, и тот, кто дружит с деревьями, может ее прочесть. Чтобы точно узнать дату тяжелого года, надо вычесть единицу из года, давшего малый рыбок. Так, рыбок 1937 года короток у всех сосен — он отражает повсеместную засуху 1936 года. Наоборот, рыбок 1941 года был длинным у всех сосен, словно они предвидели будущее и постарались показать миру, что сосны в отличие от людей все еще знают, к чему стремиться.

Когда одна сосна регистрирует неудачный год, а ее соседки — нет, можно с уверенностью предположить, что причиной тут личное несчастье: шрамы, оставленные огнем, или острыми зубами полевков, или ветром, а может быть, неурядицы в темной лаборатории, которую мы называем почвой.

Сосны любят по-соседски поболтать и пошутиться. Прислушиваясь к их разговорам, я узнаю, что произошло за неделю, пока я был в городе. Так, в марте, когда олени часто гложут ветки веймутовых сосен, высота обглоданного места говорит мне, насколько они голодны. Наевшийся кукурузой олень ленится ощипывать ветки выше четырех футов над землей, но по-настоящему голодный олень встает на задние ноги и дотягивается до веток на высоте целых восьми футов. Таким образом, даже не видя оленей, я узнаю, как обстоят у них дела с кормом, и, не побывав на поле моего соседа, могу сказать, сvez он кукурузу или нет.

В мае, пока новая свеча остается еще хрупкой, как побег спаржи, ее нередко ломает севащая на нее птица. Каждую весну я нахожу несколько таких обезглавленных сосенок, а рядом в траве — засохшие свечи. О том, что произошло, догадаться нетрудно, но за десять лет наблюдений я ни разу не видел своими глазами, как птица ломает свечу. Отсюда мораль: вовсе не обязательно сомневаться в невидимом.

Каждый год в июне свечи на некоторых веймутовых соснах поникают, бурют и гибнут. Смолевка пробурила розетку верхушечных почек и отложила яйца. Вылупившиеся личинки грызут сердцевину побега и убивают его. Лишенная верхинного побега сосна уже не в силах осуществлять свое назначение — сохранившиеся ветки не могут прийти к согласию, кому возглавить рывок к небесам, и устремляются вверх все разом, а в результате дерево остается кустом.

Любопытно, что смолевки поражают только сосны на солнце-пеке — затененных сосен они словно не замечают. Нет худа без добра.

В октябре содранная кора на моих соснах сообщает мне, что олений уже охватывает любовный жар. Одинокая сосенка высотой футов в восемь обязательно внушает оленю мысль, что окружающий мир необходимо бодать. Дерево волей-неволей подставляет ему и другую щеку, а потому терпит немалый ущерб. Единственный намек на справедливость в подобных схватках сводится к тому, что, чем яростнее олень терзает дерево, тем больше смолы он уносит на своих и так не очень-то блестящих рогах.

Шушуканье леса не всегда легко поддается переводу. Как-то зимой я обнаружил в помете под деревом, где ночевали рябчики, непопятные полупереваренные остатки. Они походили на крохотные, в полдюйма, кукурузные початки с вылуценными зернами. Я обследовал образчики всех местных кормов, какие только могли соблазнить рябчиков, но тщетно. Наконец я разрезал верхушечную почку сосны Банка и в ее сердцевине нашел разгадку. Рябчики склевывали почку, проглатывали ее, а непереваренные чешуйки и «початок», то есть зародыш свечи, оказывались в помете.

Три исконно висконсинские сосны — веймутова, смолистая и Банка — непримиримо расходятся в вопросе о брачном возрасте. Торопливая сосна Банка иногда цветет и приносит шишки через год-два после того, как покидает детскую, и некоторые из моих тринадцатилетних сосен Банка уже могут похвастать внуками. Мои тринадцатилетние смолистые сосны впервые зацвели в этом году, а веймутовы сосны еще и не думают цвести, так как избрали для своего совершеннолетия тот же возраст, что и англосаксы, — двадцать один год.

Если бы не это разнообразие брачных законов, меню моих белок было бы заметно беднее. Каждый год в разгаре лета они принимаются лущить шишки сосен Банка — и никакие туристы в праздничный день не замусоривают так окрестности: под каждым деревом валяются остатки их ежегодного пиршества. И все-таки

шишек хватает с избытком, о чем свидетельствуют бельчата, прыгающие среди золотарника.

Мало кто знает, что сосны цветут, а те, кто знает, в большинстве слишком прозаичны и видят в этом праздничном цветении всего лишь заурядную биологическую функцию. Всем пессимистам следует провести вторую неделю мая в сосновом лесу, причем пессимисты, носящие очки, должны захватить запасной носовой платок. Необъятные облака сосновой пыльцы способны убедить в бесшабашной щедрости мая даже тех, кто не поверил песне королька.

Молодые веймутовы сосны обычно чувствуют себя много вольготнее в отсутствие своих родителей. Я знаю большие участки, где младшее поколение, даже если ему обеспечено место под солнцем, хиреет и растет уродливо, подавляемое старшими деревьями. Но есть участки, где ничего подобного не происходит. К сожалению, я не знаю, что здесь причиной — стойкость младших, терпимость старших или качество почвы.

Сосны, как и люди, разборчивы в выборе друзей и не умеют подавлять свои симпатии и антипатии. Так, существует тесная близость между веймутовыми соснами и ежевикой, смолистыми соснами и молочаем, соснами Банка и папоротником многоножкой. Сажая веймудову сосну среди ежевики, я знаю, что не пройдет и года, как она даст розетку крепких почек, а ее новая хвоя обретет тот голубоватый глянец, который сопутствует здоровью и пребыванию в приятном обществе. Эта сосна обгонит в росте и зацветет раньше сверстниц, посаженных в один день с ней столь же заботливо и в такую же почву, но среди травы.

В октябре я люблю пройтись между этими голубыми плюмажами, такими прямыми и стройными на фоне красного ковра ежевичных листьев. Не знаю, ощущают ли они безмятежную радость бытия, но я ее ощущаю.

Сосны заслужили репутацию «вечзеленых деревьев» тем же способом, каким правительства создают впечатление несменяемости — накладывая один срок пребывания у власти на другой. Одеваясь каждый год новой хвоей, а старую сбрасывая через более длительные промежутки, они убедили не слишком внимательных людей, будто их иглы вечно остаются зелеными.

У каждого вида сосен есть своя конституция, определяющая срок службы хвои в соответствии с образом жизни этого вида. Так, веймутова сосна сохраняет хвою полтора года, а смолистая и Банка — два с половиной. Новые иглы приступают к исполнению своих обязанностей в июне, а прежние пишут прощальные речи в октябре. Пишут одно и то же, одними и теми же коричнево-желтыми чернилами, которые к ноябрю буреют. Затем хвоя

опадает и поступает в перегной для пополнения общей мудрости роши. Именно эта накопившаяся мудрость приглушает наши шаги под соснами.

Зимой я черпаю у мохх сосен нечто более важное, чем сведения о политике леса или новости о ветре и погоде. Обычно это случается в унылые вечера, когда снег запес все частные подробности и все живое подавлено безмолвием первозданной тоски. Но мохх сосны стоят стройными рядами, прямые, как штыки, несмотря на бремя снега, и в сумраке я ощущаю невидимое присутствие еще сотен и сотен рядов. В такие минуты я чувствую, как в меня вливается мужество.

65 290

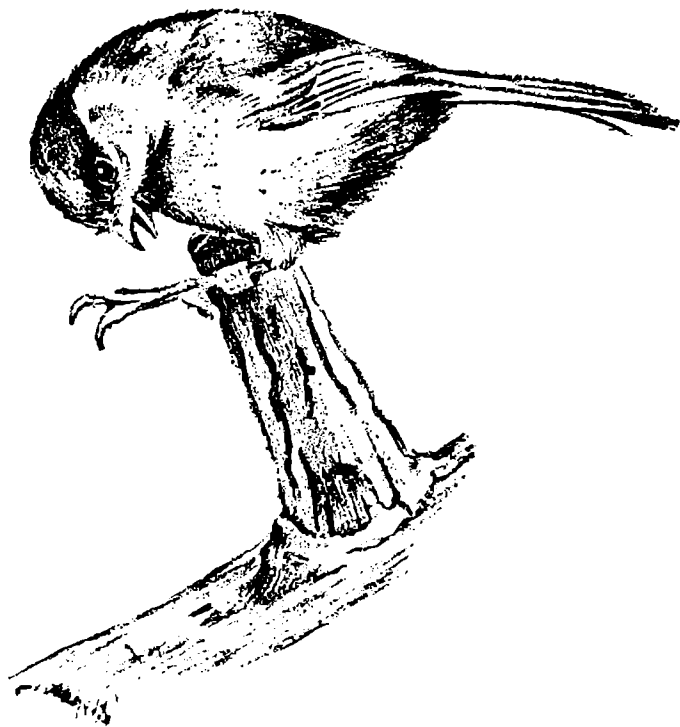
Окольцевать птицу — это словно купить билет замечательной лотереи. Почти все мы храним билеты лотереи нашего выживания, но страховое общество, продающее их, слишком опытно, чтобы предоставить нам реальный шанс. И надо неплохо себя вымуштровывать, чтобы сделать ставку на окольцованную синицу, которая в один прекрасный день снова попадается в вашу ловушку и тем самым доказывает, что она еще жива.

Неофит упивается, окольцовывая новых птиц. Он состязается с самим собой, пытаясь побить свой же прежний рекорд. Однако для искушенного кольцевателя новые птицы — это приятно, но привычно, и подлинное упоение испытываешь, поймав давно окольцованную птицу, чей возраст, приключения и бывшее состояние аппетита тебе, возможно, известны гораздо лучше, чем ей самой.

Вот почему вопрос о том, переживет ли синичка 65 290 еще одну зиму, целых пять лет вызывал в нашей семье самый горячий интерес.

На протяжении десяти лет мы каждую зиму ловили и окольцовывали практически всех синиц на нашей ферме. В начале зимы в ловушки попадают почти только неокольцованные птицы — то есть скорее всего большая часть их появилась на свет этой весной. После окольцовывания их уже можно будет «датировать». Через несколько недель неокольцованные птицы в ловушки больше не попадают, и мы делаем вывод, что местная популяция окольцована уже почти полностью. Номера на кольцах позволяют нам установить, сколько птиц живет сейчас на нашей ферме и сколько выжило со времени прошлогоднего кольцевания.

Синичка 65 290 была одной из семи «выпуска 1937 года». Впервые оказавшись в нашей ловушке, она не проявила никаких



видимых признаков гениальности. Как и ее однокашницы, она, соблазнившись салом, забыла про осторожность. Как и ее однокашницы, она ущипнула меня за палец, пока я извлекал ее из ловушки. Получив кольцо, а с ним и свободу, она вспорхнула на ветку, с легким раздражением поклевала новое алюминиевое украшение на ножке, расправила смятые перышки, негромко выругалась и улетела догонять подружек. Сомнительно, чтобы она извлекла из случившегося какие-либо философские выводы (например, «не все то муравьиные яйца, что блестит»), потому что в ту же зиму попала еще три раза.

В начале второй зимы наши повторные поимки показали, что из семи синиц этого выпуска остались только три, а в начале третьей — всего две. В начале пятой зимы 65 290 была уже единственной представительницей своего поколения. Признаки гениальности все еще не проявлялись, но ее невероятная способность к выживанию была доказана исторически.

На шестую зиму 65 290 не появилась, и заключение «пропала

без вести» подтверждается тем, что и в следующие четыре зимы мы ее не видели.

Но как бы то ни было, из 97 синиц, окольцованных нами за эти десять лет, только одна 65 290 умудрилась прожить пять зим. Три другие синицы протянули 4 года, семь — 3 года, девятнадцать — 2 года, а шестьдесят семь исчезли после первой же зимы. Продавай я страховые полисы синицам, эти статистические данные помогли бы мне установить неразорительную страховую премию. Вот только в какой валюте выплачивал бы я страховку наследникам? Наверное, муравьиными яйцами.

Я так мало знаю о птицах, что могу лишь строить догадки о том, почему 65 290 прожила дольше своих сверстниц. Более ловко увертывалась от врагов? Но каких врагов? Синицы — такие крошки, что на них мало кто позарится. Капризная причудница, по имени Эволюция, увеличив динозавра до того, что он спотыкался о собственные лапы, взяла да и съежила синицу настолько, что ни ястребам, ни совам нет смысла на нее охотиться — ну что это за обед? — и в то же время не настолько, чтобы мухоловка склевала ее, как насекомое. Потом Эволюция поглядела на свое изделие и засмеялась. Кто не засмеется, глядя на столь маленький пушистый шарик буйной и неумной энергии?

Ястреб-перепелятник, малая ушастая сова, сорокопут и особенно миниатюрный мохноногий сыч, возможно, не брезгают синицами, но я всего лишь раз обнаружил доказательство такого убийства — одно из моих колец в погадке сыча. Может быть, эти маленькие разбойники испытывают к другим крошкам дружескую симпатию.

По-видимому, единственный убийца, настолько лишенный и размеров и чувства юмора, что он способен убить синицу, — это климат. Я подозреваю, что в синичьей воскресной школе юных синичек предостерегают от двух смертных грехов: не суйся зимой в ветреные места и не намокай перед метелью.

Про вторую заповедь я узнал в сырой зимний вечер, наблюдая, как стайка синиц располагается на ночлег у меня в лесу. Южный ветер нес изморось, но было ясно, что он скоро сменится северо-западным и к утру ударит мороз. Синицы устроились на сухом дубу, кора которого отошла от ствола и свернулась трубками и козырьками различной величины и формы, по-разному расположенными на стволе. Птица, выбравшая убежище, защищенное от южной измороси, но открытое с севера, к утру неминуемо замерзла бы. Птица, избравшая убежище, защищенное со всех сторон, проснулась бы живой и здоровой. Вот какая мудрость, по-моему, обеспечивает выживание в мире синиц и объясняет долговечность 65 290 и ей подобных.

Страх синицы перед местами, открытыми ветру, легко обнаружить по ее поведению. Зимой она рискует улетать из леса только в тихие дни, и дальность таких отлучек всегда обратно пропорциональна силе легкого ветерка. Я знаю несколько продуваемых ветром лесных участков, где зимой не бывает ни единой синицы, хотя в остальные времена года они их постоянно посещают. А ветер гуляет там свободно потому, что пасущиеся коровы уничтожили подлесок. Для обогреваемого паром баншира, которому заложил свою землю фермер, которому нужно больше коров, которым нужно больше пастбищ, ветер — неприятность довольно мелкая, если только он не встречается с ним на уличном углу. Для синички зимний ветер — это рубеж обитаемого мира. Свою книгу афоризмов синица начала бы с избитой истины: «Ветреность до добра не доводит!»

Причину этого страха вы можете узнать, понаблюдав за синицей возле ловушки. Поверните ловушку так, чтобы ветер, пусть самый умеренный, дул прямо в отверстие, и никакие силы не принудят синицу прыгнуть к приманке. Поверните ловушку в другую сторону, и вам почти наверное улыбнется удача. Ветер сзади загоняет холодный воздух и сырость под перья, которые служат синицам портативной крышей и кондиционером. Поползни, юнко, древесные овсянки и дятлы тоже боятся ветра сзади, но их обогревательная аппаратура, а следовательно и способность терпеть ветер, увеличивается в указанном порядке. В книгах о природе ветер упоминается редко — они пишутся возле теплой печки.

Я подозреваю, что у синиц есть и третья заповедь: исследуй каждый громкий шум. Стоит застучать в лесу нашим топорам, синицы тут как тут, готовые лакомиться яйцами и куколками насекомых, доступ к которым откроют клин и пила. Слетаются они и на выстрел, но это им мало что приносит.

Что заменяло синицам обеденный колокол в те дни, когда еще не было топоров, кувалд и ружей? Вероятно, треск падающих деревьев. В декабре 1940 года мокрый снегопад обломил в нашем лесу неслыханное количество сухих и живых ветвей. И наши синицы больше месяца ворочали клювы от ловушек, объедаясь дарами метели.

Прошло уже много времени с тех пор, как синичка 65 290 улетела в небесный лес. Я от души надеюсь, что там весь день напролет ругаются великаны-дубы, полные муравьиных яиц, и даже легкое дуновение ветерка не тревожит ее спокойствия и не портит ей аппетита. И еще я надеюсь, что она по-прежнему носит мое кольцо.

Часть II

**КРАСОТА
ЛАНДШАФТА**



РЕКВИЕМ ПО БОЛОТУ

На великом болоте просыпается рассветный ветер. Медленно, почти невидимо для глаз он разворачивает над широкой трясинной полосой тумана. Слово белый дух ледника, движутся молочные клубы над фалангами лиственниц, скользят над заболоченными лугами, отягощенными росой. От горизонта до горизонта простерлась единая нерушимая тишина.

Откуда-то с высоты на внемлющую землю сыплется перезвон колокольчиков. И вновь воцаряется тишина. Теперь слышен лай прекрасноголосой охотничьей собаки, и ей тотчас отвечает шумный хор своры. Затем с неба доносится дальний чистый сигнал охотничьих рогов — и тонет в тумане.

Поют рожки, гудят рога, и снова тишина. Вдруг оглушительная переключка труб и погремушек, хрипы и вопли раздаются так близко, что болото содрогается, но откуда они доносятся, по-прежнему непонятно. Наконец проблеск солнца озаряет приближающуюся стаю больших птиц. Они появляются на неподвижных крыльях из рассеивающегося тумана, описывают заключительную дугу и, издавая медный клич, по спирали опускаются на свои кормовые уголья. На журавлином болоте начался новый день.

Такое место, точно тяжелым густым туманом, окутано ощущением времени. С ледникового периода оно ежегодно пробуждается весной под медь журавлиных кликов. Пласты торфа лежат здесь в чаше древнего озера. И журавли словно ступают по влажным страницам своей собственной истории. Этот торф состоит из остатков спрессованных мхов, которыми зарастали заливы, и лиственниц, которые вставали над мхами, и журавлей, которые трубили над лиственницами с тех пор, как отступили ледники. Бесконечный караван поколений из собственных костей построил этот мост в грядущее, этот приют, чтобы опускающаяся стая могла здесь жить, плодиться и умирать.

Ради чего? Журавль, заглатывая какую-то злополучную лягушку, взметывает свое песккладное тело в воздух и бьет могучими крыльями утреннее солнце. Лиственницы отвечают эхом на его трубный крик, полный неколебимой уверенности. Он как будто знает ответ.

Наша способность воспринимать красоту в природе, как и в искусстве, вначале ограничивается красностью. Мало-помалу, поднимаясь с одной ступени красоты на другую, мы постигаем высшие ценности, для которых в языке еще нет слов. И красота журавлей, по-моему, заключена именно в этих высших качествах, пока недоступных словам.

Но во всяком случае можно сказать, что наше уважение к журавлю растет по мере того, как распутывается древняя история земли. Его племя, как мы узнали теперь, возникло в далеком эоцене. Другие его современники уже давно покоятся в недрах холмов. Когда мы слышим журавлиный клич, то слышим не просто птицу. Журавль — это символ нашего неукротимого прошлого, той невероятной протяженности тысячелетий, которая лежит в основе будничных дел птиц и людей, определяя эти дела.

А потому журавли живут и существуют не в узких рамках настоящего, но на широких просторах эволюционного времени. Их ежегодное возвращение — это «тик-тик» геологических часов. И они сообщают особое благородство месту, на которое возвращаются. Среди неисчислимых обычностей и заурядностей журавлиное болото гордо предъявляет палеонтологический патент на высокий титул, который завоеван в походе веков и может быть отнят только охотничьим ружьем. Печаль, присущая некоторым болотам, возможно, рождена тем, что некогда они давали приют журавлям. Теперь они обездолены, и им нет места в истории.

Охотники и орнитологи всех времен как будто угадывали в журавлях эту высшую ценность. На такую добычу пускал своих кречетов император Священной Римской империи Фридрих. На такую добычу некогда камнем падали соколы Хубилая. Марко Поло поведал нам, что хан «охотится с соколами да кречетами, ловит много птиц, пирует и веселится. В Чيانганноре у хана большой дворец, окруженный прекрасной равниной, где много журавлей. Для их корма по приказу великого хана засевают просо, гречиху и другие семена, чтобы корму всегда было вдоволь для птиц».

Орнитолог Бенгт Берг еще мальчиком увидел журавлей на шведских вересковых пустошах и посвятил жизнь их изучению. Он последовал за ними в Африку и напел их зимние квартиры на Белом Ниле. О первой встрече с ними он рассказывает: «Это было

зрелище, с которым не сравнился бы и полет птицы Рух из арабских сказок».

Когда ледник полз с севера, стирая холмы и выпахивая долины, какой-то предприимчивый язык льда перелез через холмы Барабу и перегородил долину реки Висконсин. Не находя выхода, река разлилась и образовала озеро длиной в половину нынешнего штата, с востока ограниченное ледяными обрывами и питаемое потоками, которые катились с тающих вершин. Береговая линия этого древнего озера видна и теперь, а его дно — это дно великого болота.

Из века в век озеро поднималось и наконец перелилось через восточный край гряды Барабу. Оно прорыло новое русло для реки и тем самым себя осушило. На оставшиеся лагуны прилетели журавли, трубя о поражении отступающей зимы, призывая надвигающиеся полчища живых существ присоединиться к общему труду созидания болота. Плавающие острова сфагнума смыкались над понижавшейся водой, опускались в нее. Осока, болотная хамаедафна, лиственница и ели — все в свой черед вели успешное наступление на трясину, пронизывали ее своими корнями, приковывали к месту, высасывали из нее влагу, закладывали торфяники. Лагуны исчезли, но журавли остались. Каждую весну они возвращались на мшанники, сменившие озеро и его лагуны, танцевали, трубили и выращивали долговязых рыжевато-коричневых птенцов, которых называют «жеребятами». Я не могу объяснить почему. Но как-нибудь в росистое июньское утро понаблюдайте, как жеребята резвятся на пастбище возле гнедой матери, и вы сами поймете.

Как-то, не так уж давно, французский трапшер в штанах из оленьей кожи пробрался на своем каноэ вверх по одному из заросших ручьев, которые петляют по великому болоту. Эту попытку вторгнуться в их забытую крепость журавли встретили громким насмешливым хохотом. Через век-другой явились в фургонах англичане. Они расчистили поля на лесистых моренах по берегам болота и засеяли их кукурузой и гречихой, но не для того, чтобы, подобно великому хану в Чианганноре, кормить журавлей. Однако журавли не интересуются намерениями ледников, монархов или первопоселенцев. Они клевали зерно, а если какой-нибудь взбешенный фермер отказывался предоставить им право свободного пользования своим урожаем, предупреждающе трубили, взмывали в небо и улетали на соседнюю ферму.

В те дни люцерны не было, и луга по склонам холмов давали плохое сено, особенно в засушливые годы. Однажды во время засухи кто-то поджег лиственницы. Пожарище быстро заросло вейником и, когда его расчистили от обугленных и засохших деревьев, превратилось в отличный луг. После этого люди каждый ав-

густ ездили туда косить сено. Зимой, когда журавли улетали на юг, люди отправлялись на телегах через замерзшие трясины и увозили сено на свои фермы среди холмов. Ежегодно они расчищали болото огнем и топором, и за два коротких десятилетия его усеяли луга.

Каждый август, когда на болото приезжали косари, погоныя лошадей кнутом и бранью, устраивались на ночлег, пели и пили, журавли подавали сигнал свсім жеребятam и укрывались с ними в самых недоступных уголках болота. Косари называли их «рыжими цаплями» — из-за ржавого оттенка, который в это время года передко пятнает серо-стальное оперение журавлей. Когда сено бывало сметано в стога и болото вновь становилось их собственностью, журавли возвращались и призывали с октябрьского неба летящие на юг канадские стаи. Они вместе опускались на свежую стерню и клевали кукурузные зерна, пока мороз не подавал сигнал к общему отлету.

В те дни болото было для своих обитателей счастливой Аркадией. Люди, звери и птицы, растения и почва к общему благу жили бок о бок и за счет друг друга во взаимной терпимости. Болото могло бы вечно поставлять сено и степных тетеревов, оленей и ондатр, журавлиную музыку и клюкву.

Однако новые владельцы земли этого не понимали. В понятие общего блага они не включали ни почву, ни растения, ни птиц. Такая сбалансированная экономика приносила слишком скромные дивиденды. Им уже рисовались фермы не только вокруг болота, но и на нем. Началась эпидемия мелиорации и земельный бум. Болото покрылось сетью дренажных канав, доскутамп полей, хозяйственными постройками.

Но урожаи были скудными, страдали от заморозков, а дорогие осушительные каналы увеличивали бремя долгов. Фермеры перебегали в другие места. Торфяники высыхали, проваливались, загорались. Солнечная энергия плейстоцена затягивала окрестности едким дымом. Ни один человек не поднял голоса против такой бессмысленной расточительности. Все только зажимали носы. После засушливого лета даже зимние снега не могли погасить тлеющее болото. В полях и лугах прогорали огромные воронки, достигая песков древнего озера, сотни веков укрытых торфом. На пепелищах буйно разрастался бурьян, а через два-три года к нему присоединялась осина. Журавлям пришлось тяжело: их численность сокращалась вместе с площадью еще не сторовших лугов. Для них песня экскаватора оборачивалась траурным гимном. Верховные жрецы прогресса ничего не знали о журавлях, да и не желали знать. Биологическим видом больше, биологическим видом меньше — какое до этого дело инженерам? И кому нужно несомненное болото, если уж на то пошло?

Около двух десятилетий урожаи становились все хуже, огонь проникал все глубже, кустарник занимал все большие площади, а число журавлей все сокращалось и сокращалось. Выяснилось, что погасить торфяные пожары может только новое затопление. Тем временем те, кого интересовала клюква, кое-где заправили дренажные каналы, затопили несколько участков и получили хорошие урожаи. Где-то вдалеке политики трубили о нерентабельной земле, о перепроизводстве, о помощи безработным, о сохранении природы. Экономисты и планировщики явились осмотреть болото. На нем теперь кишели топографы, технический персонал, безработная молодежь, объединенная в Гражданский корпус по охране лесов. Началась контрэпидемия затопления. Федеральное правительство скушало землю, переселяло фермеров, засыпало дренажные каналы. Бывшие трясины вновь медленно напитывались влагой. Оставленные огнем воронки превращались в пруды. Трава по-прежнему горела, но она уже не поджигала набухшую водой почву.

Все это, как только были свернуты лагерь Гражданского корпуса, пошло на пользу журавлям — все, кроме тополиных зарослей, которые неумолимо покрывали старые пожарища, и уж тем более сети новых дорог, непременно сопутствующих охране природы, когда за нее берется правительство. Построить дорогу куда проще, чем обдумать, в чем действительно нуждается земля. Болото без дорог кажется стороннику формального сохранения природы таким же бесполезным, каким неосушенное болото казалось строителям империи. Безлюдье, естественное богатство, не включенное ни в какие справочники, до сих пор ценится только орнитологами и журавлями. История — болота ли, рыночного ли торга — всегда завершается парадоксом. Высшая ценность этих болот заключается в нетронутости дикой природы, а журавль — живое воплощение дикой природы. Однако сохранение дикой природы несет в себе зародыш собственного крушения — чтобы лелеять, необходимо видеть и ласкать, а когда поглядевших и поласкавших набирается достаточно много, уже не остается дикой природы, чтобы ее лелеять.

В один прекрасный день — быть может, в самый разгар наших благодеяний, а может быть, когда наступит законный геологический срок, — последний журавль протрубит прощальный клич и по спирали поднимется с великого болота в небо. Из высоких облаков донесутся звуки охотничьих рогов, лай призрачной своры, перезвон колокольчиков, а потом воцарится тишина, и она не будет нарушена во веки веков — разве что на каком-нибудь дальнем лугу Млечного Пути.

ПЕСЧАНЫЕ ГРАФСТВА

В каждой профессии есть свое небольшое стадо эпитетов, которым нужны луга, где бы они могли резвиться на воле. Так, экономисты должны отыскивать свободные пастбища для своих излюбленных поношений вроде «нерентабельности», «регрессии» и «традиционной косности». В обширных пределах песчаных графств эти экономические укоризны получают достаточную разминку, даровой подножный корм и гарантированную безопасность от слепней критических возражений.

Почвоведом тоже пришлось бы тяжело без песчаных графств. Где еще могли бы найти хлеб насущный их подзолы, глеи и анаэробные бактерии?

Специалисты по социальному планированию в последние годы начали использовать песчаные графства для другой, хотя и сходной цели. Песчаный район обеспечивает бледное пустое пространство приятных очертаний и размеров на тех картах в мелкую горошину, где каждая горошина обозначает десять ванн, или пять косметических салонов, или одну милю асфальтового покрытия, или долю в быке-производителе. Подобные карты выглядели бы очень скучно, если бы горошины располагались правильными рядами.

Короче говоря, песчаные графства бедны.

Однако в тридцатых годах, когда благодетельные реформаторы металась по Великим равнинам, уговаривая владельцев песчаных ферм переселиться в другие места, эти косные невежды не пожелали никуда уезжать, хотя их и соблазняли ссудами федерального земельного банка всего из трех процентов. Я был заинтригован и в конце концов, чтобы разрешить загадку их поведения, купил себе песчаную ферму.

Порой в июне, когда люпины выплачивают мне росой незаработанные дивиденды, я начинаю сомневаться, так ли уж бедны пески. На землях доходных ферм люпины даже не растут, а уж тем более не собирают ежедневной радуги из драгоценных камней. Если бы они рискнули высунуться там из земли, инспектор по борьбе с сорняками, который редко видит росистые зори, конечно, потребовал бы, чтобы их немедленно уничтожили. А экономисты знают ли о существовании люпинов?

Быть может, у фермеров, не пожелавших покинуть песчаные графства, были на то глубокие причины, коренящиеся в глубоком

прошлом. С приходом каждого апреля мне напоминает об этом сон-трава, расцветающая на всех галечных гребнях. Сон-трава говорит мало, но, насколько я понимаю, свой выбор она сделала еще во времена ледника, оставившего тут гальку. Только галечные гребни настолько бедны, что могут предложить сон-траве ничем не стесненный простор под апрельским солнцем. Она готова терпеть снег, ледяную крупу и холодные ветры ради права цвести в одиночестве.

Есть и другие растения, которые как будто просят у мира не богатства, а простора. Вот, например, крохотная песчанка, одевающая белым кружевом вершины самых бедных холмов перед тем, как люпины обрызгают их светлой синевой. Песчанка попросту отказывается жить на хорошей ферме — даже на очень хорошей, с альпийским садиком и бегониями. И маленькая льнянка, такая крохотная, такая тоненькая и такая голубая, что ее замечаешь, только чуть не наступив на нее, — кто когда видел льнянку где-нибудь, кроме как на открытом песке?

И наконец, крупка, возле которой даже льнянка кажется высокой и пышной. Мне ни разу не встретился экономист, знакомый с крупкой, но я, будь я экономистом, предавался бы своим экономическим размышлениям, обязательно распростершись на песке и разглядывая крупку.

Некоторые птицы встречаются только в песчаных графствах. Почему? Иногда догадаться бывает легко, а иногда и трудно. С бледной овсянкой все ясно: она влюблена в сосны Банка, а они влюблены в песок. Все ясно и с канадским журавлем — он влюблен в безлюдье, а больше его нигде не найти. Но почему предпочитают гнездиться в песчаных местностях вальдшнепы? Их предпочтению не объяснишь столь материальной причиной, как корм, — земляных червей много больше там, где почва лучше. По-моему, после многолетних наблюдений я нашел причину. Вальдшнеп, циркающий перед началом небесного танца, напоминает низенькую женщину на высоких каблуках — и в густой траве он выглядит не слишком внушительно. Но на бесплоднейшей полоске песка самого бедного луга или самой бедной пустоши песчаных графств нет травянистого покрова (во всяком случае, в апреле), а только мох, крупка, сердечник, щавелек, кошачья лапка — все это мелочь даже для птицы с короткими ногами. Тут вальдшнеп может не только без помех и препятствий надуть грудь, важно расхаживать, жеманно семенить, но и чувствовать, что он весь открыт взглядам зрительницы, реальной или воображаемой. Это незначительное обстоятельство, играющее важную роль всего лишь один час в день на протяжении всего лишь одного месяца, причем, возможно, только одного из полов, и уж конечно,

не имеющее никакого отношения к экономическим меркам уровня жизни, определяет для вальдшнепа выбор дома.

Экономисты пока еще не пробовали переселять вальдшнепов.

ОДИССЕЯ

Икс пребывал в известняковом пласте с той поры, когда эти края были дном палеозойского моря. Для атома, заключенного в породе, время не движется.

Но в один прекрасный день корень дуба крупноплодного проник в трещинку и принялся протискиваться дальше и сосать. За краткий миг столетия пласт разрушился, и Икс был извлечен из земли наружу, в мир живых существ. Он помог создать цветок, который стал желудем, который напитал оленя, который насытил индейца, и все за один год.

Покоясь в костях индейца, Икс принимал участие в охотах и стычках, пирах и голодовках, разделял его надежды и опасения. Он ощущал все это, как изменения в тех крохотных химических толчках, которые каждый атом испытывает непрерывно. Когда индеец распростился с прерией, Икс краткое время пребывал без движения под землей, но вскоре отправился во второе путешествие по кровотоку живых созданий.

На этот раз его всосал корешок бородача и отложил в листе, который колыхался в зеленых волнах июньской прерии, участвуя в общем труде накопления солнечной энергии. Но этому листу досталась и своя особая обязанность: отбрасывать пляшущую тень на яйца в гнезде песочника. Ликующий песочник, паря в небе, изливал хвалы чему-то бесподобному — может быть, яйцам, может быть, пляшущим теням, а может быть, дымке розовых флоксов вокруг.

Когда песочники отправились в дальний путь в Аргентину, бородачи махали им вслед длинными новыми кисточками. Когда же с севера прилетели первые гуси, а бородачи надели винно-красный наряд, предусмотрительный белоногий хомячок отгрыз лист, в котором находился Икс, и унес его в подземное гнездо, точно стараясь укрыть кусочек яркой осени от вороватых заморозков. Но хомячок повстречался с лисицей, плесень и грибы разрушили гнездо, и Икс вновь очутился в почве, свободный и ничем не связанный.

Затем он оказался в стебле бутелоа, в желудке бизона, в помете бизона и снова в почве. Затем традесканция, кролик и сова. После чего стебель спороболюса.

Любому привычному ходу событий приходит конец. Этот был оборван степным пожаром, превратившим травы в дым, газы и золу. Атомы фосфора и калия остались в почве, но атомы азота были унесены ветром. Посторонний зритель в этот момент предсказал бы, пожалуй, быстрый финал биотической драмы — когда пожары лишают почву азота, она легко может потерять свои растения и улететь в пылевом смерче.

Однако у прерии было кое-что в запасе. Пожары разреживали ее травы, но они способствовали росту бобовых — степного клевера, деспедецы, строжостилеса, вики, аморфы, лугового клевера и баптизии. У всех у них в клубеньках на корнях трудилась особые бактерии. Каждый клубенек перекачивал азот из воздуха в растения, а в конечном счете — в почву.

В результате сберегательный банк прерии получал от своих бобовых больше азота, чем выплачивал его пожарам. О том, что прерия богата, знает даже самый скромный белоногий хомячок, но вот вопроса, почему она богата, на всем протяжении безмолвного хода веков не задавал никто.

Между своими экскурсиями по биоте Икс лежал в почве, и дожди дюйм за дюймом уносили его все ниже по склону. Живые растения препятствовали смыву, захватывая атомы. Мертвые растения задерживали их в своих гниющих тканях. Животные съедали растения и переносили их немного выше или ниже по склону в зависимости от того, где они затем испражнялись или умирали. Ни одно животное не сознавало, что высота места его смерти над уровнем моря была много важнее того, как именно оно погибло. Так, лисица ловила полевку на лугу и уносила Икса вверх, на гребень холма, где ее схватывал орел. Умирающая лисица ощущала, что ее роль в лисьем мире кончается, но ничего не знала о начале новой одиссеи атома.

В конце концов перья орла унаследовал индеец и с их помощью умиловил Судьбу, твердо веря, что она питает к индейцам особый интерес. Ему и в голову не приходило, что она играет в кости с силой тяготения, что мыши и люди, почвы и песни — возможно, всего лишь средства, замедляющие движение атомов к морю.

Однажды, когда Икс находился в топольке над рекой, его съел бобр — животное, которое обычно кормится выше того места, где умирает. Этот бобр погиб от голода, когда в сильные морозы вода в его запруде промерзла до дна. В его трупке Икс поплыл по волнам весеннего половодья, за каждый час теряя больше высоты, чем прежде за столетие. Его путь завершился в дельте, в иле тихой протоки, где он накормил рака, енота, а затем индейца, который упокоился вместе с ним в могильнике на речном берегу. Однажды

весной река подмыла обрыв, и после краткой недели половодья Икс вновь оказался в своей древней темнице — в море.

Атом, бродящий по биоте, слишком свободен, чтобы понять свободу; атом вернувшийся в море, забывает ее. Взамен каждого атома, захваченного морем, почва высасывает новый из рассыпающихся известняков. И только одна истина бесспорна: живые существа прерии должны сосать усердно, жить быстро и умирать часто, иначе ее убытки превзойдут ее доходы.

Корни пропикают в трещинки — такова их природа. Когда такой корень высвободил Игрека из родного известняка, в прерии появилось новое животное и принялось переделять ее по своим понятиям о законе и порядке. Волы вспахали девственный дерн, и Игрек начал головокружительные ежегодные путешествия по стеблям новой травы, которую называют пшеницей.

Старая прерия жила разнообразием своих растений и животных, которые все были полезны, потому что их сотрудничество и соперничество между собой в общем итоге обеспечивало продолжение жизни. Но у фермера были свои понятия — полезными он считал только пшеницу и волов. Он увидел, как бесполезные голуби облаком опускаются на его пшеницу, и незамедлительно очистил от них небеса. Он увидел, что теперь красть продолжают пшеничные клопы, и пришел в бессильное бешенство — ведь эти бесполезные твари были слишком мелки, чтобы их можно было уничтожить. Но он не увидел вымывания истощенного пшеницей чернозема, который лежал, открытый апрельским ливням. Когда вымывание почвы и клопы покончили с пшеницей, как основой хозяйства, Игрека и других ему подобных вода унесла уже далеко вниз по склону.

Пшеничная империя рухнула, и фермер попробовал кое-чему научиться у старой прерии — он связал плодородие с коровами, поднял его с помощью собирающей азот люцерны, а через длинные корни кукурузы добрался до нижних слоев чернозема.

Однако люцерну и другое оружие против вымывания он использовал не только для того, чтобы сохранить уже распаханную землю, но и для эксплуатации новых земель, которые в свою очередь потребовали сохранения.

Вот почему, несмотря на люцерну, слой чернозема постепенно становился все тоньше. Специалисты по борьбе с эрозией строили плотины и террасы, чтобы сохранить его. Военные инженеры сооружали отстойники и отводные дамбы, чтобы вернуть его из рек. Но реки его не возвращали, а осаживали на собственное дно, что затрудняло судоходство. Тогда инженеры соорудили запруды,

похожие на бобровые, только во много раз больше, и Игрек осел в такой запруде, завершив свое путешествие от коренной породы до реки за одно краткое столетие.

В запруде Игрек совершил сначала несколько экскурсий через водные растения, рыб и водоплавающих птиц. Однако инженеры строят не только плотины, но и канализацию. В нее-то вместо моря и попадает вся добыча с дальних холмов. Атомы, которые некогда слагались в цветки сон-травы и приветствовали верпущихся песочников, теперь лежат неподвижно и растерянно в маслянистой жиже.

Корни все еще проникают в трещинки коренных пород. Ливни все еще хлещут по пашням. Белоногие хомячки все еще прячут сувениры яркой осени. Старика, которые в юности помогали уничтожить странствующих голубей, все еще рассказывают про огромные стаи, затемнявшие солнце. Черно-белые бизоны выходят из красных коровников и возвращаются в них, предлагая странствующим атомам бесплатно покататься.

О ПАМЯТНИКЕ ГОЛУБЮ*

Мы воздвигли памятник, чтобы ознаменовать похороны биологического вида. Этот памятник символизирует наше горе. Мы скорбим потому, что больше уже ни один человек не увидит, как стремительные фаланги победоносных птиц пролагают путь весне в мартовских небесах и гонят побежденную зиму из всех лесов и прерий Висконсина.

Еще живы люди, которые в юности видели этих голубей. Еще живы деревья, помнящие пернатый вихрь, который сотрясал их в молодые годы. Но пройдет десять лет, и помнить будут только старейшие дубы, а потом память сохранят одни холмы.

В книгах и музеях голуби не переведутся, но это чучела и изображения, мертвые, не знающие ни невзгод, ни радостей. Книжные голуби не могут вынырнуть из облака и обратиться в бегство оленей или громом крыльев приветствовать лес, полный желудей. Книжные голуби не могут завтракать на пшеничном жнивье Миннесоты и обедать на черничниках Канады. Все времена года им равно

* Памятник странствующему голубю был установлен Висконсинским орнитологическим обществом в Вайальюзинском парке и открыт 11 мая 1947 года. — *Прим. автора.*

безразличны, они не ощущают ни поцелуев солнца, ни плетей ветра и непогоды. Они живут вечно, потому что вообще не живут.

Наши деды ели и одевались не так хорошо, как мы, и жили не в таких удобных домах. Усилия, позволившие им улучшить свою судьбу, заодно лишили нас голубей. Быть может, сейчас мы скорбим потому, что в глубине души не уверены, насколько выгоден для нас такой обмен. Механические игрушки дают нам больше комфорта, чем давали голуби, но могут ли они столько же прибавить к великолепию весны?

Прошло сто лет с тех пор, как Дарвин впервые приоткрыл перед нами тайну происхождения видов. Теперь мы знаем то, чего не знала вереница всех предшествующих поколений: человек — всего лишь один из участников в одиссее эволюции наравне с другими живыми существами. Это открывшееся нам знание уже должно было бы воспитать в нас ощущение родства со всем, что живет, желание не только жить самим, но и давать жить другим, благоговейное удивление перед размахом и длительностью биотического путешествия.

А главное — за сто лет, протекших после Дарвина, нам следовало бы понять, что хотя человек сейчас и командует кораблем, плывущим в неведомое, само плаванье было предпринято отнюдь не ради него одного, а его прежние самодовольные заблуждения на этот счет возникли из-за простой потребности свистеть, бродя в потемках.

Вот что следовало бы нам почувствовать и понять, но боюсь, слишком многих это обошло стороной.

Один вид, оплакивающий другой, — это нечто новое под солнцем. Кроманьонец, убивший последнего мамонта, думал только о сытном обеде. Охотник, подстреливший последнего голубя, думал только о своей меткости. Матрос, обрушивший дубину на последнюю бескрылую гагарку, вообще ни о чем не думал. Но мы, потерявшие своих голубей, оплакиваем их. Будь это наши похороны, голуби вряд ли оплакивали бы нас. Именно этот факт, а не нейлоновые чулки господина Дюпона или бомбы господина Буша, объективно свидетельствует о нашем превосходстве над животными.

Этот памятник, точно сапсан, будет день за днем, год за годом озирать со своего обрыва широкую долину вниз. Каждый март он будет смотреть, как в вышине пролетают гуси, рассказывая реке о более чистых, более прохладных, более пустынных водах тундры. Каждый апрель перед ним будет расцветать и отцветать багряник, и каждый май цветки дубов будут повисать розовой дым-

кой на тысячах холмов. Каролинские утки будут осматривать эти липы в поисках дупел. Золотые древесницы будут стряхивать золотую пыльцу с речных ив, белые цапли будут неподвижно стоять в этих заводях в августе, песочники будут посвистывать в сентябрьских небесах. Гикори будут ронять орехи на октябрьский палый лист, и град будет стучать в ноябрьских лесах. Но ни один голубь не пролетит над ним, потому что голубей больше не осталось, если не считать вот этого, отлитого из бронзы, неподвижно сидящего на этом камне. Туристы будут читать эту надпись, но их мысли не обретут полета.

Моралисты от экономики поучают нас, что скорбь по голубю — всего лишь ностальгия, что не покончи с голубями охотники, с ними из чистой самозащиты пришлось бы покончить фермерам.

Это одна из тех своеобразных истин, которые бесспорны, но совсем по иным причинам.

Странствующие голуби были биологической бурей, молнией, пылавшей между двумя потенциалами невероятного напряжения — обилием даров земли и кислородом воздуха. Ежегодно пернатый ураган с громом носился над всем континентом, сметая плоды леса и прерий, сжигая их в мчащемся пламени жизни. Как бывает при всякой цепной реакции, странствующие голуби не могли выдерживать снижения собственной бешеной энергии. Когда дробь охотника уменьшила их множества, а топор поселенца прорубил плени в лесах, подателях их топлива, пламя погасло без искр и даже без дыма.

Ныпче дубы все еще возносят бремя к небу, но оттуда уже не падает пернатая молния. Гусеницы и жуки должны теперь медленно и беззвучно выполнять ту биологическую задачу, которая некогда совлекала гром с небесной тверди.

Удивляться надо не тому, что странствующих голубей больше нет, а тому, что они сумели дожить до эры дельцов.

Голубь любил свою землю, он жил жаждой виноградных кистей и лопающихся буковых орешков, и еще — своим презрением к расстояниям и временам года. То, чего Висконсин не предлагал ему даром сегодня, он завтра искал и находил в Мичигане, или на Лабрадоре, или в Теннесси. Он любил то, что существовало сию минуту — не здесь, так там, и чтобы отыскать желаемое, требовалось только вольное небо и желание лететь.

Любить то, что было, — это нечто новое под солнцем, неведомое многим людям и всем голубям. Увидеть Америку в ее истории, постигнуть веление судеб, ощутить аромат гикори на безмолвном протяжении ушедших веков — все это в нашей власти, и пужно

только вольное небо и желание лететь. Только в этом, а вовсе не в бомбах господина Буша и не в нейлоновых чулках господина Дюпона заключено объективное свидетельство нашего превосходства над животными.

ФЛАМБО

Люди, которые никогда не спускались в каюзу по реке в необжитом краю — или же спускались, но с проводником у руля, — склонны считать, будто ценность такого путешествия исчерпывается новыми впечатлениями и полезной физической нагрузкой. Так думаю и я, пока не встретился на Фламбо с двумя студентами.

Перемыв посуду после ужина, мы сидели у реки и смотрели, как на том берегу олень купает рога, поедая водные растения. Вдруг он поднял голову, насторожил уши и одним прыжком скрылся в зарослях.

Причина его тревоги вскоре стала ясна — из-за мыса показалось каюзу с двумя молодыми ребятами. Увидев нас, они повернули к нашему берегу, чтобы поболтать.

— Который час? — спросили они, едва причалив, и объяснили, что оба забыли завести свои часы и впервые в жизни им не по чьему было поставить их правильно — ни других часов, ни гудка, ни радио. Два дня они жили «по солнечному времени» и радовались. Завтрака, обеда и ужина им никто не подавал — либо они добывали их из реки, либо оставались голодными. Регулировщик не свистел им, предупреждая о подводном камне в быстринах, и никакой гостеприимный кров не спасал их от дождя, если они решали, что на этот раз палатку можно не ставить. Проводник не указывал им, где выбрать место для ночлега — вот тут ветер разгоняет комаров, а там всю ночь из-за них не сомнешь глаз — и какое дерево дает звонкие жаркие угли, а какое только дымит.

Прежде чем юные искатели приключений поплыли дальше, мы успели узнать, что по возвращении обоих призывают в армию. И все стало ясно. Эта поездка дала им в первый и в последний раз вкусить свободы, она была интерлюдией между двумя строгими распорядками — университетского городка и казармы. Первобытная простота плаванья в дикой глуши увлекала не только своей ошибкой. Они впервые узнали вкус наград и кар за разумные и глупые поступки — наград и кар, с которыми ежечасно сталкиваются обитатели дикой глуши, но против которых цивилизация создала тысячи защит. В этом смысле они были действительно предоставлены самим себе.

Быть может, молодежи необходимы соприкосновения с дикой природой, чтобы постичь смысл такой свободы.

Когда я был маленьким, мой отец, хваля леса, удобные стоянки, места для ужения, имел обыкновение говорить: «Почти как на Фламбо!» Когда, наконец, и я пустился в канопь по этой легендарной реке, сама она оправдала все мои ожидания, но дикая природа по ее берегам была уже при последнем издыхании. Новые дачки, пансионаты и шоссеиные мосты разделяли нетронутые дебри на все более и более узкие сегменты. Резкими сменами впечатлений плавание вниз по Фламбо напоминало пароксизм лихорадки, когда человека бросает то в жар, то в холод: едва успеешь увериться, будто вокруг тебя девственная глушь, как видишь лодочную пристань и уже плывешь мимо пионов какого-нибудь дачника.

Слава богу, пионы остались позади и метнувшийся по откосу олень возвращает ощущение дикой природы, а быстрины довершают иллюзию. Но у плеса ниже их торчит псевдобревенчатая хижина с очень современной крышей, сельской беседочкой для послеобеденного бриджа и красующимся на доске кокетливым названием: «Приют отдохновения».

Поль Бешьян был слишком занят, чтобы думать о потомках, но если бы его попросили сохранить место, которое показало бы потомкам, как выглядели северные леса прошлого, он, возможно, выбрал бы Фламбо — ведь на ее берегах прекрасные веймутовы сосны росли бок о бок с прекрасными сахарными кленами, желтой березой и тсугой. Такое щедрое сочетание сосны с лиственными деревьями было и остается редкостью. Сосны Фламбо, выросшие на одной почве с лиственными деревьями — почве более плодородной, чем привычная для сосен, — были столь огромными и ценными и стояли так близко к сплавной реке, что их вырубали очень давно, о чем свидетельствует трухлявость сохранившихся колоссальных пней. Пощадили только сосны с дефектами, но их и по сей день сохранилось достаточно, чтобы украшать горизонт над Фламбо зелеными памятниками ушедшим дням.

Вырубка лиственных лесов пришла позднее — собственно говоря, последняя крупная лесопромышленная компания протянула рельсы последней узкоколейки для вывоза бревен всего десять лет назад. Теперь от этой компании осталась только «земельная контора» в обезлюдившем поселке, которая продает желающим участки бывшего леса. Так сошла на нет целая эпоха американской истории — эпоха с девизом «вырубай и двигайся дальше».

Подобно койоту, копающемуся в отбросах опустевшего лагеря, экономика Фламбо после окончания лесоразработок существует на остатках собственного прошлого. По вырубкам рыщут поставщики сырья для целлюлозы — не пропустили ли где-нибудь лесо-

рубы молоденькую тсугу. Команда передвижной лесопилы обыскивает речное дно в поисках топляка, оставшегося от дней лихого сплава в былые славные времена. Выпачканные илом трупы лежат рядами у старой пристани — все в прекрасном состоянии, а многие и очень ценные, ибо теперь на севере таких сосен больше нет. Рубщики сводят на болотах восточную туйю для столбов и жердей. По пятам рубщиков идут олени и обглядывают брошенные верхушки. Все существует на чьих-то обедах.

Остатки подбираются настолько усердно, что дачник, строя себе бревенчатую хижину, использует сваи из Айдахо и Орегона, обтесанные под бревна и доставленные в леса Висконсина на товарных платформах. Английская поговорка, предлагающая возить уголь в Ньюкасл, рядом с этим выглядит веселой шуткой.

Тем не менее остается река, кое-где совсем такая же, какой она была в дни Поля Беньяна, — на заре, пока не проснулись моторки, слышно, как она поет в первозданной глуши. Сохранилось несколько участков несведенного леса, по счастью принадлежащих штату. Немало осталось и диких обитателей воздуха, воды и леса: маскинонги, окуни, лопатоносы плавают в реке, крохали, черные и каролинские утки гнездятся в низинах поймы, скопа, орел и ворон кружат в вышине. И повсюду олени — может быть, даже в избытке: за два дня плавания по реке я насчитал их пятьдесят два. В верховьях Фламбо еще бродят два-три волка, а один охотник утверждает, будто видел куницу, хотя с 1900 года на Фламбо не было добыто ни единой куньей шкурки.

Используя эти остатки первозданной глуши, висконсинский департамент охраны дикой природы в 1943 году начал на протяжении пятидесяти миль восстанавливать берега реки в их нетронutom виде для пользы и удовольствия висконсинской молодежи. Тут река течет через леса, принадлежащие штату, но разработка леса по берегам реки вестись не будет, как не будут прокладываться и новые дороги. Медленно, терпеливо и порой по высокой цене департамент охраны дикой природы скупал земельные участки, сносил дачи, закрывал все дороги, кроме самых необходимых, и, короче говоря, отводил стрелки часов назад к первозданной глуши настолько, насколько это вообще возможно.

Хорошая почва, благодаря которой Фламбо снабжала Поля Беньяна самым лучшим строевым лесом, в последние десятилетия помогла графству Раск развить молочную промышленность. Его фермерам требовалась электроэнергия дешевле той, которую предлагали им местные электрокомпании, а потому они организовали кооператив и в 1947 году обратились за разрешением на постройку плотины, которая перехватит нижнюю часть заповедного пятидесятимильного участка реки, открытого только для каное.

Некоторое время шла ожесточенная политическая борьба. Законодательное собрание штата, весьма чувствительное к нажиму фермеров и равнодушное к ценностям нетронутых дебрей, не только одобрило проект плотины, но и лишило Комиссию по охране дикой природы права голоса в вопросе распределения участков для энергетических сооружений. Таким образом, более чем вероятно, что еще остающиеся открытыми для каноев воды Фламбо, как и все остальные нетронутые места на реках штата, в конце концов будут отданы под производство энергии.

Быть может, наши внуки, никогда не видевшие дикой реки, не пожалеют о том, что не могут пуститься в каное по поющей воде.

УМЕРЦВЛЕНИЕ

Со старого дуба содрали кору, и он погиб.

Степень смерти покинутых ферм бывает разная. Некоторые ветхие дома подмигивают вам, словно говоря: «Тут еще кто-нибудь поселится. Вот увидите!»

Но эта ферма — не такая. Содрать кору со старого дуба, чтобы выжать последнюю каплю дохода из хозяйства, — это столь же бесповоротно и окончательно, как топить очаг мебелью.

*Иллинойс
и Айова*

ПО ИЛЛИНОЙСУ НА АВТОБУСЕ

Фермер с сыном во дворе врезаются двуручной пилой во внутренности тополя-патриарха. Дерево такое старое и такое могучее, что свободного полотнища пилы остается не больше фута.

Было время, когда этот великан вставал маяком в море прерии. Быть может, Джордж Роджерс Кларк разбил лагерь под его ветвями, и уж, конечно, бизоны пережидали в его тени полуденный зной, лениво отгоняя мух. Каждую весну на него опускалось облако голубей. Это — библиотека, с которой сравнится разве что университетская, но несколько дней в году его пух липнет к проволочной сетке в окнах фермера. И важно только это.

Университет объясняет фермерам, что мелколистныe вязаы не забивают пухом проволочные сетки, и потому их следует предпочесть тополям. Кроме того, он премудро вещает о консервировании вишни, болезни Банга, гибридах кукурузы и о том, как сделать свой дом красивым. О фермах он не знает только одного: откуда они взялись. Его задача — приспособить Иллинойс под сою.

Я сижу в автобусе, который со скоростью 60 миль в час мчится по дороге, некогда предназначавшейся для двуклоков. Ленту бетона все расширяли и расширяли, пока кюветы не уперлись в изгороди, разделяющие поля. На узенькой полоске между выбритыми откосами и изгородью виднеются останки того, чем некогда был Иллинойс, — прерии.

Никто в автобусе их не замечает. Хмурый фермер, из кармана которого торчит счет за удобрения, смотрит невидящими глазами на люпины, леспедецу и баптизию, которые некогда перекачивали азот из воздуха прерии в чернозем его будущих полей. Он не отличит их от наглого захватчика пырея, среди которого они растут. Спроси я его, почему кукуруза приносит ему сотню бушелей с площади, которая в штатах, где никогда не было прерии, хорошо если даст тридцать, он наверняка ответит, что в Иллинойсе почва лучше. А спроси я его, как называется вон то льнущее к изгороди растение с белыми, как у гороха, цветами, он пожмет плечами. Сорняк какой-то.

Мимо проносится кладбище, обрамленное желтокорнем. Нигде больше желтокорня нет — современный ландшафт получает желтую гамму от пупавки и осота. Желтокорень прерии беседует только с мертвыми.

За окном раздается будоражащий душу свист длиннохвостого песочника: было время, когда его прашуры следовали за бизонами, которые брели, утопая по плечи в безграничном море пыле забытых цветов. Мальчик успел заметить песочника и сообщает отцу: «Вон бекас полетел».

Вывеска гласит: «Вы въезжаете в Гринриверский округ охраны почв». Буквами помельче обозначены все, кто принимает в этом участие, но из движущегося автобуса разобрать ничего невозможно. Так сказать, реестр, кто есть кто в деле сохранения почвы.

Вывеска очень аккуратенькая. Поставлена она у ручья, на лугу, таком маленьком, что хоть в гольф играй. Неподалеку видна красивая излучина сухого русла. Новый ручей течет по линейке — специалист-мелиоратор «разогнул» его русло, чтобы ускорить сток. На заднем плане — холм с лепточными посевами. Специалист по борьбе с эрозией «согнул» их по контурам холма, чтобы

замедлить сток. Такое обилие рекомендаций, наверное, ставит воду в тушик.

На этой ферме все говорят о приличном счете в банке. Дом и двор щеголяют свежей краской, сталью, бетоном. Дата на амбаре увековечивает первых поселенцев. Крыша щетинится громоотводами, флюгерный петух сияет позолотой. Даже свиньи выглядят платежеспособными.

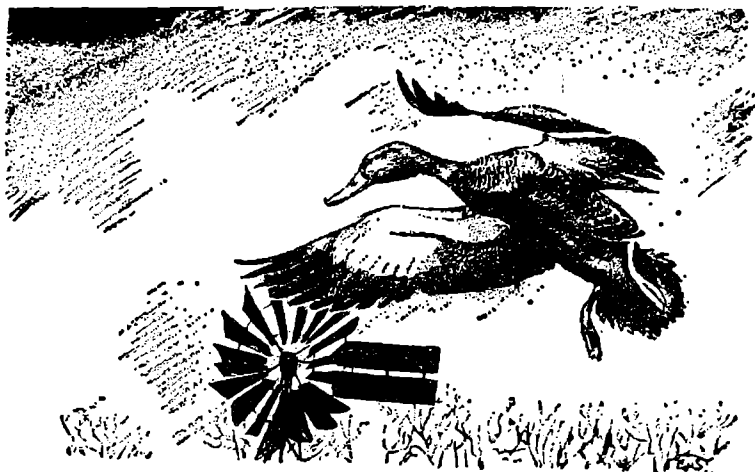
У старых дубов в леске нет потомства. Нет ни живых изгородей, ни кустарника, ни жердяных заборов, ни других признаков безалаберного хозяйствования. На кукурузном поле пасутся жирные бычки, но вот перепелов там, наверное, нет. Изгороди занимают лишь узкие полоски дерна. Тот, кто допахивал прямо до ключей проволоки, наверное, повторял про себя старую пропись: «Ничего не оставляй втуне».

В кустах у луга разлив разбросал всякий мусор. Берега обнажены: большие куски иллинойсской земли обвалились и отправились в путь к морю. Буйные заросли амброзии показывают, где полые воды оставили ил, который не смогли унести с собой. Кто, собственно, тут платежеспособен? И надолго ли?

Шоссе туго натянутой лентой ложится через поля кукурузы, овса и клевера. Автобус отсчитывает мили благоденствия, а пассажиры говорят, говорят, говорят. О чем? О бейсболе, о налогах, о зятях, о кинофильмах, о машинах, о похоронах. И ни слова о земляных волнах Иллинойса за окнами автобуса. У Иллинойса нет ни происхождения, ни истории, ни мелей, ни глубин, ни отливов и приливов жизни и смерти. Для них Иллинойс — всего лишь море, по которому они плывут к неведомым пристаням.

ДЕРГАЮЩИЕСЯ КРАСНЫЕ ЛАПЫ

Вспоминая ранние впечатления детства, я спрашиваю себя, не является ли так называемый процесс взросления, процесс становления личности на самом деле процессом обезличивания, не сводится ли хваленый опыт взрослых к постепенному разжижению основ жизни мелочами будничного существования. Во всяком случае, несомненно одно: мои первые впечатления от дикой природы и



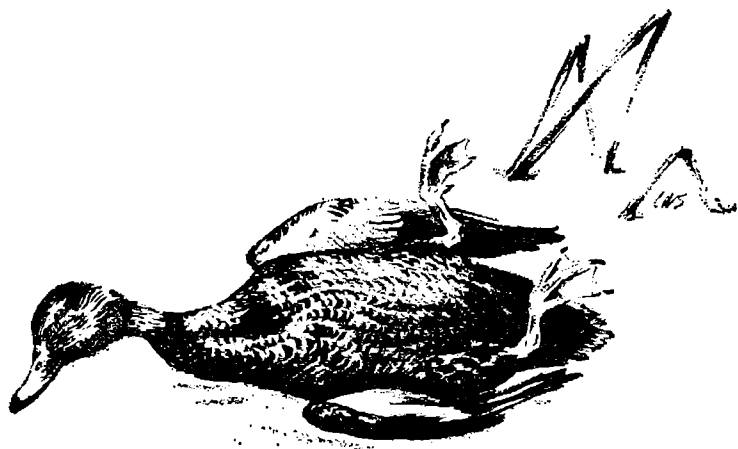
диких существ сохраняют необыкновенную четкость формы, цвета и атмосферы — даже полвека профессиональной работы с дикой природой не смогли ни стереть их, ни что-либо к ним добавить.

Подобно большинству честолюбивых охотников, я в детстве получил одностволку и разрешение охотиться на кроликов. Как-то зимой в субботу, по дороге к моим излюбленным кроличьим угольям, я заметил, что в покрытом льдом и снегом озере, там, где с берега стекала теплая вода от ветряка, появилась небольшая «отдушина». Все утки давно уже отправились на юг, но я тут же сформулировал мою первую орнитологическую гипотезу: если где-нибудь в наших краях задержалась хотя бы одна утка, рано или поздно она опустится на эту полынью. Я укротил свою страсть к кроликам (в то время для меня немалый подвиг), сел среди обледенелого водяного перца на мерзлую глину и стал ждать.

Ждал я до вечера, и от каждой пролетающей мимо вороны, от каждого жалобного стога ревматичного ветряка мне становилось все холоднее и холоднее. Наконец на закате одинокая кряква появилась с запада и, ни разу не облетев полыньи, сложила крылья и спикировала на воду.

Выстрела я не помню — ничего, кроме невыразимого восторга, когда моя первая утка шлепнулась на заснеженный лед и осталась лежать брюхом вверх, дергая красными лапами.

Даря мне дробовик, отец сказал, что я могу охотиться на куропаток, но ни в коем случае не стрелять по ним, когда они сидят на деревьях: я уже достаточно взрослый, чтобы стрелять влет.



Моя собака прекрасно загоняла куропаток на деревья, и, отказываясь от верного выстрела по сидящей птице ради почти верного промаха по летящей, я затверживал первые уроки этики. Что такое все семь царств дьявола по сравнению с куропаткой, сидящей на дереве!

На исходе моего второго бескровного сезона охоты на куропаток я как-то пробирался через густой осинник, как вдруг слева от меня загремела крыльями большая куропатка и, взмыв над осинами, молнией пронеслась за моей спиной в сторону ближайшего кипарисового болотца. Это был выстрел навскидку, о каком мечтает любой охотник на куропаток, и птица рухнула на землю в вихре перьев и золотых листьев.

Я бы и сегодня мог точно обозначить на плане каждую веточку красного дёрена, каждую голубую астру, украшавшие мох, на котором лежала она — первая моя куропатка, сбитая влет. Наверное, с той минуты я люблю дёрен и голубые астры.

Аризона и Нью-Мексико

НА ВЕРШИНЕ

Когда я впервые прпехал в Аризону, плато Уайт-Маунтин еще оставалось владением всадников. На нем почти не было дорог, доступных для фургонов. Автомобили еще не существовали, а для пешего

хождения расстояния были слишком велики, и даже пастухи там ездили верхом. В результате это обширное плато, или, как называли его местные жители, «Вершина», стало владениями конника — кошного скотовода, кошного овцевода, кошного лесничего, кошного охотника и всех тех загадочных всадников, неведомо откуда взявшихся и неизвестно куда направляющихся, без которых никогда не обходятся новоосваиваемые земли. Нынешнему поколению трудно понять аристократизм, опирающийся исключительно на средства передвижения.

Он не распространялся на железнодорожные станции в двух днях пути к северу, где имелся широкий выбор средств передвижения — кожаные подметки, ослы, лошади, линейки, товарные платформы, тамбуры, пульманы. Каждое из них соответствовало определенной социальной касте, члены которой говорили на своем наречии, носили свою одежду, ели свои блюда и посещали свои питейные заведения. Единственной объединяющей их чертой была задолженность в лавке, а также совместное владение всей аризонской пылью и всем аризонским солнцем.

Когда вы ехали на юг через равнины и плоские холмы к Уайт-Маунтин, эти касты одна за другой оставались позади по мере того, как местность становилась недоступной для их видов транспорта, и на Вершине миром правили только всадники.

Разумеется, Генри Форд покончил со всем этим. А в наши дни самолеты даже небо отдали в распоряжение всех и каждого.

Зимой Вершина была недоступна и для всадников, потому что на лугах вырастали высокие сугробы, а узкие каньоны, по которым только и можно было туда подняться, заваливало снегом до краев. В мае по всем каньонам катились потоки ледяной воды, но затем вам уже ничто не мешало «выбраться наверх», если только ваша лошадь соглашалась полдня брести вверх по колено в грязи.

Каждую весну в деревушке у подножия плато разгоралось безмолвное соперничество: кто первым нарушит уединение Вершины. Мы все жаждали этого по причинам, которых не анализировали. Про первого с поразительной быстротой узнавали все, и его окружал особый ореол. Он становился «лучшим всадником года».

Горная весна, вопреки романам, не воцарялась сразу и бесповоротно. Благоприятное тепло сменялось ледяными ветрами даже после того, как овец перегоняли на горные пастбища. Трудно представить себе более злбкое зрелище, чем унылый серый луг, где под градом или мокрым снегом жалобно блеют яркие и окоченевшие ягнята. Даже веселые ореховки Кларка сидели, нахохлившись, спиной к этим весенним вьюгам.



Летом настроения плато менялось несколько раз на дню вместе с погодой. Эти настроения пробирали самого тупого всадника, как и его лошадь, до мозга костей.

В солнечное утро плато так и соблазняло вас спешиться и поваляться в сочной траве и цветах. (Ваша менее выдержанная ло-

шадь так и поступала, стоило ослабить поводья.) Все живое пело, попискивало и расцветало. Могучие сосны и ели, отдыхая от зимних бурь, пили солнце в величавом покое. Кистеухие белки, храня непроницаемое выражение на мордочке, но ликуя голосом и хвостом, настойчиво сообщали вам то, что вы и без них прекрасно знали, — никогда еще не было такого дивного безлюдья и такого великолепного дня.

А час спустя на солнце напозлали грозовые тучи, и недавний рай робко затихал, ожидая, что на него вот-вот обрушатся безжалостные бичи молний, дождя и града. Все окутывалось черным унынием, словно вот-вот должна была взорваться бомба. Лошадь вскидывалась, стоило скатиться камешку или треснуть веточке. А если вы пытались повернуться в седле, чтобы отвязать плащ, она бросалась в сторону, фыркала и дрожала, как будто вы собирались развернуть свиток Страшного суда. Когда кто-нибудь при мне утверждает, будто он не боится грозы, я все еще говорю про себя: он не ездил верхом по Вершине в июле.

Грохот грома над головой достаточно страшен, но куда страшнее дымящиеся осколки камня, которые свистят совсем рядом, когда молния ударяет в скалу. Однако еще страшнее щепки, летящие во все стороны, когда молния разбивает сосну. Я до сих пор помню блестящую белую щепку длиной в полтора ярда, которая впиалась в землю у моих ног, гудя, как камертон.

Какой бедной должна быть жизнь, совсем свободная от страха!

Плато представляло собой один бескопечный луг: чтобы проскакать из одного его конца до другого, требовалось полдня. Но не думайте, будто это был огромный заросший травой амфитеатр, огражденный стеной сосен. Его края были все в фестонах, кружевах и мережке бесчисленных бухточек и фиордов, мысов и проливов, полуостровов и парков, разных и неповторимых. Никто не знал их все, и каждая поездка сулила возможность отыскать что-нибудь новое. Въезжая в такую усыпанную цветами бухточку, я нередко чувствовал, что побывай здесь кто-нибудь до меня, он должен был бы сохранить память об этом в песне или стихотворении — вот почему я употребил слово «новое».

Этим ощущением, будто ты вот сейчас открыл нечто невероятное, по-видимому, и объяснялось изобилие инициалов и дат и всевозможных тавр, которыми была испещрена кора терпеливых осин в окрестностях любого летнего лагеря. С помощью этих надписей можно было за один день изучать историю *Homo texanus* (человека техасского) и его культуру, причем не в холодных антропологических категориях, но через биографию какого-нибудь

патриарха, чьи инициалы были вам знакомы потому, что его сын надул вас с лошадю, или потому, что вы как-то танцевали с его дочкой. Вот помеченный девяносто каким-то годом его простой инициал без тавра рядом, вырезанный, очевидно, когда он впервые попал на Вершину пастухом без роду и племени. Затем через десять лет — его инициал и тавро. К этому времени он уже стал почтенным членом общины с собственным стадом, умножившимся благодаря бережливости и естественному приросту, а может быть, и не без помощи вороватого лассо. Затем совсем свежий инициал его дочери, вырезанный влюбленным юношей, который мечтал стать не только мужем красавицы, но и преемником ее отца.

Старик уже умер. На закате жизни сердце его радовало только счет в банке и число принадлежавших ему коров и овец, однако осина свидетельствует, что в молодые годы и он не оставался равнодушен к великолепию горной весны.

Впрочем, история плато запечатлевалась не только на коре осины, но и в местных названиях. В скотоводческих краях они бывают непристойными, шутливыми, насмешливыми или сентиментальными, но скучными — никогда. Они дразнят любопытство приезжих, и в ответ на расспросы ткется та паутина былей и небылиц, которая слагается в местный фольклор.

Например, «Погост» — прелестная лужайка, на которой голубые колокольчики покачивались над полупогребенными в земле черепами и позвонками коров, погибших давным-давно. Здесь в восьмидесятые годы неопытный скотовод, приехавший из теплых долин Техаса, доверился чарам лета и остался зимовать на Вершине вместе со стадом. Когда забушевали ноябрьские выюги, ему и его лошади удалось добраться до равнины — но не его коровам.

Или «Кэмпбелловский Блюз» — у истоков Блу-Ривер, куда какой-то скотовод привез молодую жену. Ей скоро надоели скалы и камни, она тосковала по пианино. И ей привезли пианино фирмы «Кэмпбелл». В округе был только один мул, способный тащить подобную ношу, и только один погонщик, способный навьючить его так, чтобы пианино было уравновешено, — задача поистине выше человеческих сил! Однако пианино не развеяло тоски, и молодая супруга исчезла из этих краев. Когда я услышал эту историю, от дома сохранилась только куча бревен.

А еще «Фасолевая Дыра» — заболоченный луг, окаймленный соснами, под которыми в мои дни стояла пустая бревенчатая хижина, где можно было переночевать. По неписаному закону хозяин такой хижины оставлял в ней муку, топленое сало и фасоль, а ночующие пополняли запасы, чем могли. Но один злополучный путешественник, которого грозы заперли там на неделю, нашел в кладовой только фасоль. Подобное нарушение правил гостепри-

имства казалось настолько вопиющим, что было запечатлено как географическое название.

И наконец, «Райское Ранчо» — безнадежная банальность, если смотреть на карту, но нечто совсем другое, когда вы добирались туда верхом по тяжелой дороге. Как и положено настоящему раю, это место пряталось за крутым отрогом. По его сочным лугам струился звонкий ручей, где плескалась форель. Лошадь, которую оставили месяц пастись на этом лугу, так разжирила, что на ее спине скопилась лужа дождевой воды. Впервые увидев Райское Ранчо, я спросил себя: «А как еще могли его назвать?»

Хотя мне не раз предоставлялся случай вновь побывать на Уайт-Маунтин, я ни одним из них не воспользовался. Лучше не видеть, что принесли этим местам туристы, шоссе, лесопилки и узкоколейки для вывоза леса или что они у них отняли. Иногда я слышу, как молодые люди, еще не родившиеся, когда я впервые «выбрался наверх», принимаются наперебой хвалить Вершину. И я соглашусь — с некоторыми мысленными оговорками.

ЕСЛИ ДУМАТЬ, КАК ГОРА

Могучий грудной вопль, эхом отражаясь от скал, катится вниз с горы и замирает в дальних пределах ночного мрака. Это — взрыв дикой гордой скорби и презрения ко всем превратностям и опасностям мира.

Ни одно живое существо (а может быть, и мертвое тоже) не остается равнодушным к этому кличу. Оленю он напоминает о судьбе всей плоти, соснам предсказывает полуночную возню внизу и кровь на снегу, койоту обещает богатые обеды, скотоводу грозит задолженностью в банке, охотнику сулит поединок пули с острыми клыками. Однако за всеми этими непосредственными страхами и надеждами кроется иной, глубокий смысл, ведомый только горе. Только гора прожила столько лет, что может бесстрастно слушать волчий вой.

Те, кому этот скрытый смысл не внятен, все-таки знают о нем, ибо он ощущается во всех волчьих краях и делает их особенными. Он пробегает мурашками по коже каждого, кто слышит волков ночью или разглядывает их следы днем. И даже если волков не видно и не слышно, он таится в сотнях мелких событий — в полуночном ржании вьючной лошади, в стуче осыпавшихся камней, в



прыжке бегущего оленя, в том, как тени лежат под елями. Только невежественный новичок не ощутит присутствия или отсутствия волков, не заметит, что у гор есть о них свое тайное мнение.

Мне это известно с того дня, когда я увидел, как умирал волк. Мы завтракали на высоком обрыве, у подножия которого бурлила стремительная речка. Вдруг мы заметили, что через речку по грудь в белой пене перебирается оленуха. Только когда она выбралась на наш берег и встряхнула хвостом, мы поняли, что ошиблись. Это был волк. Полдесятка других волков — по-видимому, подросших волчат — выскочили из пня и, радостно виляя хвостами, буйной волной накатились на волчицу. На открытой площадке у подножия нашего обрыва каталась и кувыркалась целая куча из волков.

В те дни нам еще не доводилось слышать, что можно увидеть волка и не убить его, и секунду спустя мы уже осыпали свинцом захваченную врасплох стаю. Однако в этой пальбе азарта было много больше, чем меткости, — целиться с крутого обрыва вниз всегда сложно. Когда мы расстреляли все патроны, старая волчица лежала на земле, а за неприступной осыпью, волоча ногу, исчезал последний волчонок.

Мы подбежали к волчице как раз вовремя, чтобы увидеть, как яростный зеленый огонь угасает в ее глазах. Я понял тогда и навсегда запомнил, что в этих глазах было что-то недосыгаемое для меня, что-то ведомое только ей и горе. Я тогда был молод и болен охотничьей лихорадкой. Раз меньше волков, то больше оленей, думал я, а значит, полное истребление волков создаст охотничий рай. Но увидев, как угас зеленый огонь, я почувствовал, что ни волки, ни горы этой точки зрения не разделяют.

С тех пор мне довелось увидеть, как штат за штатом избавился от своих волков. Я наблюдал за очищенными от волков горами и видел, как их южные склоны покрываются рубцами и морщинами новых оленьих троп. Я видел, как все съедобные кусты и молоденькие деревья ошипывались, некоторое время кое-как прозябали, а



потом гibli. Я видел, как каждое дерево со съедобной листвой лишалось ее до высоты седельной луки. Подобная гора выглядит так, словно кто-то вручил господу садовые ножницы и не оставил ему никаких других развлечений. А потом приходит голод, и кости погибших от собственного избытка бесчисленных оленьих стад,

о которых мечтали охотники, белеют на солнце, смешиваясь с прахом шалфея, или тлеют под можжевельниками без нижних ветвей.

По-моему, как олени живут в смертельном страхе перед волками, так гора живет в смертельном страхе перед оленями. И может быть, с большим на то основанием. Ведь съеденному волками вожаку стада через год-другой подрастет смена, но что заменит съеденный оленями растительный покров даже через десятилетия?

То же происходит и со скотом. Скотовод, очищающий свои владения от волков, не понимает, что берет на себя обязанность волков поддерживать численность стад в соответствии с возможностями пастбищ. Он не научился думать, как думает гора. И вот теперь пыльные чаши съедают почву и реки уносят наше будущее в море.

Мы все стараемся обеспечить себе безопасность, благосостояние, комфорт, долгую жизнь и скуку. Оленю служат для этого быстрые ноги, скотоводу — капканы и яды, законодателю — перо, а большинству из нас — машины, избирательные бюллетени и доллары, но все в общем сводится к одному: покой для нас, пока мы живы. В какой-то мере это неплохо, а может быть, с объективной точки зрения и необходимо, однако избыток безопасности в конечном счете, по-видимому, порождает только опасность. Не это ли имел в виду Торо, сказав, что спасение мира — в дикой природе? И не в этом ли скрытый смысл волчьего воя, давно известный горам, но редко понятный людям?

ЭСКУДИЛЬЯ

Жизнь в Аризоне ограничивалась снизу бутелоа, сверху — небом, а на горизонте — Эскудильей.

Севернее горы вы ехали по медового цвета равнинам и, куда бы ни глядели, всюду видели Эскудилью.

Восточнее вы ехали среди хаоса плоских лесистых холмов. Каждая ложбина прятала свой особый мирок, пропитанный солнцем, полный благоухания можжевельника, уютный от болтовни сосновых соек. Но стоило подняться по склону, и вы сразу становились пылинкой в необъятности: совсем рядом нависала Эскудилья.

Южнее простирался лабиринт каньонов Блу-Ривер, кишевших белохвостыми оленями, дикими индейками и еще более диким рогатым скотом. Промашнувшись по оленю, который прощался с вами насмешливым взмахом хвоста и исчезал за гребнем, вы недо-

уменно смотрели в прорезь прицела и видели далекую голубую гору — Эскудилью.

Западнее вставал авангард национального леса Апаче. Мы метили там деловую древесину, в могучие сосны становились в наших записных книжках цифрами, обозначающими гипотетические штабеля бревен. Пыхтя на крутых подъемах, метчик ощущал странное несоответствие между символами в записной книжке и непосредственной действительностью потных пальцев, лжеакадии, слешней-златоглазиков и брапящихся белок. Но на гребне прохладный ветер, шумящий над зеленым морем сосен, уносил прочь его сомнения. На дальнем берегу этого моря голубела Эскудилья.

Эта гора вмешивалась не только в нашу работу и наши развлечения, но даже в наши старания раздобыть вкусный обед. Зимой по вечерам мы подстерегали крик в речной низине. Осторожные стаи описывали дугу по розовому западу, по стальной голубизне севера и скрывались в чернильном мраке Эскудильи. Если они появлялись из него на неподвижных крыльях, через час у нас в жаровне уже тушился жирный селезень, а если нет — мы вновь довольствовались солониной с фасолью.

Собственно говоря, было только одно место, откуда Эскудилью не было видно, — вершина самой Эскудильи. Зато там вы ее чувствовали. И все из-за великана-медведя.

Старик Большешелый был бароном-разбойником, а Эскудилья была его замком. Каждую весну, когда теплые ветры смягчали тени на снегу, старый гризли, пробудившись от зимней спячки, выбирался из берлоги над каменной осыпью, спускался с горы и проламывал череп корове. Наевшись досыта, он возвращался на свои утесы и там мирно проводил лето, питаясь сурками, кроликами, ягодами и съедобными корешками.

Как-то мне довелось увидеть его добычу. Голова и шея коровы были сплющены в лепешку, словно она боднула в лоб мчащийся паровоз.

Никто ни разу не видел старого медведя, но в сырой земле у ключей под утесами оставались его чудовищные следы. И, увидев их, даже самые закаленные ковбой заболели медведем. Где бы они ни ездили, они отовсюду видели гору, а когда они видели гору, то вспоминали медведя. У лагерных костров были три главные темы: говядина, танцы и медведь. Большешелый претендовал только на одну корову в год и на несколько квадратных миль никому не нужных скал, но воздействие его личности тяготело над всем краем.

В те дни прогресс как раз добрался до царства коров. А эмиссары у прогресса были разные.



Одним из первых явился автомобилист, решивший пересечь континент. Этого укротителя дорог ковбой понимали — в его голосе слышалось то же небрежное мужество, что и у укротителей диких лошадей.

Они не понимали красивую молодую даму в черном бархате и с утонченной речью, которая приехала, чтобы просветить их в вопросах женского равноправия, но они ее слушали и с удовольствием смотрели на нее.

Они дивились и инженеру телефонной компании, который развесил проволоку на можжевельниках и мгновенно доставлял вести из города. А один старик спросил, не может ли проволока доставить ему окорок.

Как-то весной прогресс прислал еще одного эмиссара — охотника на государственной службе, своего рода святого Георгия в комбинезоне, выскивающего драконов, дабы сражать их на казенный счет. Нет ли здесь каких-нибудь вредных зверей, которых требуется сразить? Как же, как же! Большой медведь.

Охотник нагрузил своего мула и погнал его к Эскудилье.

Через месяц он вернулся. Его мул пошатывался под тяжестью огромной шкуры. В городке нашелся только один сарай, достаточно большой, чтобы ее можно было растянуть в нем для просушки. Охотник испробовал капканы, яды и все свои обычные хитрости, но безрезультатно. Тогда в расщелине, через которую мог пройти

только медведь, он установил ружье со взведенным курком и начал ждать. Последний гризли задел веревку и застрелился.

Был июнь, и вылинявшая облезлая шкура никуда не годилась. По нашему мнению, подло было отказать последнему гризли в возможности оставить хорошую шкуру как достойный памятник его племени. Теперь же его наследство свелось к черепу, попавшему в Национальный музей, да к ссоре между учеными из-за латинского обозначения этого черепа.

И только после того, как мы поразмыслили над всем этим, нас начал мучить вопрос, кто, собственно, написал правила прогресса.

С начала творения время грызло базальтовую громаду Эскудильи, разрушая, выжидая, созидая. Время создало три особенности древней горы: внушительный облик, особое содружество мелких животных и растений и еще — гризли.

Охотник на казенном жалованье, убивая гризли, знал, что благодаря ему Эскудилья станет безопасным местом для коров. Но он не знал, что его выстрел спшиб шпиль с величественного здания, строившегося с тех пор, как утренние звезды поют вместе.

Глава бюро по контролю над численностью хищников, похваливший охотника, был биологом, весьма сведущим в зооэволюции, но он не знал, что шпили могут играть не менее важную роль, чем коровы. Он не предвидел, что не пройдет и двадцати лет, как коровий край станет краем туристов и будет нуждаться в медведях больше, чем в бифштексах.

Члены конгресса, проголосовавшие за выделение сумм на очистку гор от медведей, были потомками первопоселенцев. Они восхваляли мужество, волю, энергию тех, кто разведывал первозданную глушь, но прилагали все усилия, чтобы с этой глушью покончить.

Мы, лесничие, принявшие уничтожение медведя как должное, знали хозяина местного ранчо, который выпахал из земли кипчгал с именем одного из капитанов Франсиско Васкеса де Коронадо. Мы сурово осудили испанцев, которые в жажде золота и новообраченных без всякой нужды уничтожили местных индейцев. Но нам и в голову не пришло, что мы — тоже капитаны вражеского вторжения, слишком уж уверенные в его законности и праведности.

Эскудилья все еще голубеет на горизонте. Но при виде ее вы уже не думаете о медведе. Теперь это просто гора.

*Чиуауа
и Сонора*

ГУАКАМАЙО

Физика красоты — это раздел естествознания, еще не вышедший из своего средневековья. Даже те, кто искривляет пространство, не пытались решить ее уравнения. Все, например, знают, что осенний пейзаж северных лесов равен земле плюс красный клеп плюс воротничковый рябчик. С точки зрения обычной физики рябчик составляет лишь миллионную долю как массы, так и энергии акра. Но стоит вычесть рябчика, и все мертво. Исчезает колоссальное количество какой-то движущей энергии.

Конечно, можно сказать, что такая утрата существует лишь для зрения души, но какой здравомыслящий эколог согласится с этим? Он-то знает, что это — очередная экологическая смерть, значение которой не может быть выражено в терминах современной науки. Некий философ назвал эту непостижимую, неосязаемую сущность ноуменом материальных предметов. Ноумен противостоит феномену, постигаемому и предсказуемому вплоть до путей и капризов самых далеких звезд.

Рябчики — это ноумен северных лесов, голубая сойка — рощ гикори, канадская кукша — сфагновых болот, щур — заросших можжевельником предгорий. Орнитологические учебники не сообщают этих фактов. Вероятно, для науки они еще слишком новы, хотя и очевидны для вдумчивых ученых. Но как бы то ни было, тут я сообщаю об открытии ноумена Сьерра-Мадре — попугая ара.

Открытием его можно назвать единственно потому, что мало кто посещал места, где он обитает. Но там только глухой слепец не заметил бы, какая роль принадлежит ему в жизни гор и в пейзаже. Ведь не успеешь доесть завтрак, а шумные стаи уже покидают ночлег среди скал и устраивают своего рода утренние учения на фоне разгорающейся зари. Подобно отрядам журавлей, они выписывают круги и спирали, оглушительно обсуждая друг с другом вопрос (который занимает и вас), будет или нет новый день, неторопливо спускающийся в каньоны, еще более сине-золотым, чем его предшественники.

Голоса разделяются поровну, и птицы взвод за взводом устремляются на плоские вершины высоких холмов, чтобы позавтракать своим излюбленным блюдом — сосновыми семенами на чешуе. Вас они еще не заметили.

Но чуть позже, когда вы карабкаетесь по крутому подъему, какой-нибудь зоркий попугай, может быть в миле от вас, заметит



в каньоне странное существо, которое пыхтя взбирается по тропе, предназначенной исключительно для оленей и пум, медведей и диких индеек. Завтрак забыт. С воинственным кличем вся орава взлетает и устремляется к вам. Они кружат у вас над головой, а вы все на свете отдали бы за словарь попугаечьего языка. спрашивают ли они, какого черта вас сюда занесло? Или в качестве представителей местной птичьей торговой палаты втолковывают вам, как великолепны эти края, их климат и обитатели и какое несравненное будущее их ожидает? Возможно и то и другое, по раздельности и вместе. И тут вы с тоской представляете себе, что

произойдет, когда сюда будет проведено шоссе и шумный комитет по встрече поспешит приветствовать туриста с ружьем.

Скоро выясняется, что вы — субъект непонятливый и скучный и даже свистом не отзываетесь на приветствия, принятые по утрам в Сьерре. Да и целых шишек в лесу больше, чем вышелушенных, а потому — давайте продолжим завтрак! На этот раз они, возможно, опустятся на дерево под обрывом, так что можно будет подкрасться и поглядеть на них сверху. И тут в первый раз вы различаете цвета: бархатисто-зеленые мундиры с малиново-желтыми эполетами и черные каски. Вся компания шумно перелетает с сосны на сосну, но обязательно строим и обязательно в четном числе. Мне только раз довелось видеть стаю, численность которой не была кратна двум.

Не знаю, так же ли шумливы гнездовые пары, как буйные стаи, приветствовавшие меня в сентябре. Но одно я знаю: если в сентябре на горе есть попугаи, вы недолго останетесь в неведении об этом. Как правоверный орнитолог, я, разумеется, должен описать их крик. Он несколько походит на крик щура, но музыка щуров нежна и исполнена неясной тоски, как туманная дымка их родных каньонов, а музыка гуакамайо гораздо громче и полна грубоватого веселья площадной комедии.

Весной, как мне рассказывали, супружеская пара отыскивает дупло дятла на какой-нибудь высокой сухой сосне и исполняет долг по отношению к своему виду во временном уединении. Но какой дятел выдалбливает достаточно большое дупло? Гуакамайо (такое красивое название дали местные жители этому попугаю) по величине не уступает голубю, и в каморку золотого дятла его не засунешь. Может быть, он сам расширяет дупло с помощью своего мощного клюва? Или он пользуется дуплами императорского дятла, который, по слухам, встречается в тех краях? Приятную задачу найти ответ на этот вопрос я завещаю какому-нибудь орнитологу будущего.

ЗЕЛЕННЫЕ ЛАГУНЫ

Мудрость учит: никогда не посещай дважды уголки нетронутой природы, ибо чем ярче блещет золотом лилия, тем яснее, что кто-то ее вызолотил. Вернуться — значит испортить себе не только поездку, но и воспоминания. Ведь лишь в памяти не тускнеют краски былых приключений. Вот почему я больше не возвращался

в дельту реки Колорадо после того, как мы с братом объездили ее на каноэ в 1922 году.

Казалось, будто с тех пор, как Эрнандо де Аларкон высадился в дельте в 1540 году, там до нас никто не бывал. Обосновавшись в эстуарии, где некогда укрывались его корабли, мы неделями не видели ни единого человека, ни единой коровы, ни единой изгороди, ни даже следов топора. Однажды мы наткнулись на старую колею фургона — кто и зачем ехал в нем, осталось неизвестным, но уж наверное намерения у него были зловещие. А один раз мы увидели консервную банку и тут же схватили ее, как бесценную утварь.

Зарю в дельте высвистывала перепелка Гэмбела с ветки прозописа над нашей стоянкой. Когда солнце выглядывало из-за гряды Сьерра-Мадре, его косые лучи ложились на сотню миль пленительного безлюдья, на огромную плоскую чашу нетронутой глуши, окаймленную зубчатыми гребнями. На карте главное русло реки делило дельту пополам, на самом же деле река была нигде и повсюду, так как не могла решить, которая из сотни зеленых лагун предлагает самый приятный и самый медленный путь к Калифорнскому заливу. А потому она, как и мы, заглядывала в них во все. Она делилась и воссоединялась, она поворачивала и петляла, она блуждала по непроходимым джунглям, она только что не выписывала круги, она мешкала в прелестных рощах, она сбивалась с дороги, попадала совсем не туда и радовалась этому, как и мы. Если хотите побить все рекорды медлительности, отправляйтесь в путь с рекой, которая не торопится расстаться со своей свободой, воссоединившись с морем.

«Он водит меня к водам тихим» — для нас это была просто фраза из псалма, пока мы не начали плаванья по зеленым лагунам. Не сочини Давид этих слов, нам пришлось бы сочинить их самим. Тихие воды были глубокого изумрудного оттенка — вероятно, из-за водорослей, но это не делало их менее зелеными. Душистая стена прозописа и ив отделяла протоку от пустыни, где не было ничего, кроме колючих зарослей. За каждой излучиной в заводях, точно статуи, стояли, отражаясь в воде, белые цапли. Флотилии бакланов резали рябь черными бушпритами, гоняясь за юркой кефалью. На отмелях, поджав одну ногу, дремали пшлочки, перепончатые и желтоногие улиты. Кряквы, свиязи, чирки испуганно взмывали в воздух и собирались темным облаком впереди, чтобы опуститься там на воду или прорваться нам в тыл. Когда вдали на зеленую иву садилась стая белых цапель, казалось, дерево раньше времени укрыл снег.

Все это изобилие птиц и рыб предназначалось отнюдь не только для нас. Нередко мы обнаруживали, что на полузатопленной



коряге распласталась рыжая рысь, готовая подцепить лапой зазевавшуюся кефаль. По мелководью бродили семейства енотов, закусывая водяными жуками. С мысков за нами следили койоты, которые завтракали там стручками прозописа, иногда, я полагаю, разнообразя свое меню покалеченным куликом, уткой или перепелкой. У каждого брода виднелись следы чернохвостых оленей. Мы внимательно рассматривали эти следы в надежде обнаружить признаки присутствия владыки дельты, величавого ягуара — эль тигре.

Мы так и не увидели ни его самого, ни даже волоска с его шкуры, но его присутствие пронизывало все вокруг. Ни одно животное не забывало о его возможной близости, потому что расплатой за беспечность была смерть. Ни один олень не обходил куста и не останавливался пощипать стручки с высокого прозописа, предварительно не втянув поздрями воздух — не несет ли он запаха эль тигре. Ни один лагерный костер не угасал без разговоров о нем. Ни одна собака не свернулась на почь хотя бы в трех шагах от ног своего хозяина: уж она-то знала, что царственная кошка

все еще правит в ночном мраке, что ее массивные лапы могут свалить быка, а челюсти дробят кости, как нож гильотины.

Теперь дельту, по всей вероятности, сделали безопасной для коров, и она навеки утратила привлекательность для охотников, любящих риск. Страх развееи, но великолепие покинуло зеленые лагуны.

Когда Киплинг вдыхал в Амритсаре дым от огня, на котором готовился ужин, ему следовало бы описать его подробнее: ведь никакой другой поэт не воспел и не обонял горящие дрова пашей зеленой земли. Остальные поэты, видимо, довольствовались антрацитом.

В дельте жгут только прозопис — самое душистое из всех душистых топлив. Возле каждой стоянки искривленные нетленные скелеты этих древних деревьев, обработанные тысячами заморозков и наводнений, просушенные тысячами солнц, лежат, готовые закуриться в сумерках синим дымом, спеть песенку чайника, испечь лепешки, позолотить в котелке перепелок, согреть человека и зверя. Когда вы подгребаєте под жаровню горку этих углей, остерегитесь позже ненароком сесть на это место, не то вскопите с воплем, распугивая перепелок, устроившихся спать на ветках. Угли прозописа долго хранят жар.

Нам доводилось стряпать на углях белого дуба в кукурузном поясе, мы коптили наши котелки сосновым дымом в северных лесах, мы тушили олени ребра на арizonском можжевельнике, но мы не знали, что такое совершенство, пока не поджарили молодого гуся на прозописе дельты.

Эти гуси заслуживали самых лучших углей, потому что неделю ускользали от нас. Каждое утро мы наблюдали, как гогощие стаи строем летят с залива куда-то в глубь дельты, а затем возвращаются сытые и безмолвные. Какое редкостное яство искали и находили они в зеленых лагунах? Мы вновь и вновь переносили стоянку в ту сторону, куда летели гуси, в надежде увидеть, как они садятся пировать. И вот однажды около восьми часов утра мы увидели, как стая сделала круг, строй нарушился и гуси посыпались на землю, точно кленовые листья. Одна стая, другая, третья... Наконец-то мы нашли место, куда они устремились!

На следующее утро в тот же час мы лежали в ожидании у самой обычной на вид протоки, отмели которой были испещрены вчерашними гусиными следами. Мы уже проголодались — от стоянки до протоки путь оказался неблизким. Мой брат как раз поднес ко рту жареную перепелку, но тут гогот в небе парализовал нас. Перепелка так и висела в воздухе, пока стая неторопливо кружила, спорила, колебалась и в конце концов пошла на по-

садку. Перепелка упала на песок, заговорили ружья, и все гуси, каких мы могли съесть, забились в последних судорогах.

Прилетела и опустилась новая стая. Собака лежала, дрожа от нетерпения, а мы неторопливо ели перепелку, выглядывая из укрытия и слушая болтовню гусей. Они глотали... гальку! На смену одной насытившейся стае клевать восхитительные камешки прилетала другая. В зеленых лагунах гальки было хоть отбавляй, но им требовались именно эти камешки с этой отмели. Ради них белые гуси готовы были без сожалений лететь за сорок миль, как и мы не жалели, что добрались за ними туда.

Мелкой дичи в дельте было столько, что она сама лезла под ружье. На каждой стоянке через несколько минут стрельбы мы уже развешивали вокруг полный рацион перепелок на следующий день. По правилам кулинарии перепелке перед тем, как попасть с веток прозописа на угли прозописа, полагалось провисеть холодную ночь на веревочке.

Вся дичь была невероятно жирна. Каждый олень накапливал столько сала, что в ложбинке вдоль его хребта, несомненно, уместилось бы ведро воды, но только ни один олень не позволил нам проверить это на опыте.

Источник такого благоденствия далеко искать не приходилось: каждый прозопис гнулся под бременем стручков. Мясистые семена трав, поднявшихся на илстых прогалинах, можно было черпать горстями, а стоило войти в заросли какого-то бобового растения, сходного с кассией, как вам в карманы из перезрелых стручков сами сыпались бобы.

А одна такая прогалина вся заросла дикими тыквами. Олени и еноты разломали замерзшие плоды, и над вывалившимися семенами кружили горлицы и перепелки, словно мухи над спелым бананом.

Мы не могли есть то, чем объедались олени и перепелки, — во всяком случае, не пробовали, — но, подобно им, не могли нарадоваться этой первозданной глуши, текущей млеком и медом. Их праздничное настроение заражало нас, мы все наслаждались общим изобилием и общим благоденствием. В населенных краях я ни разу столь чутко не ощущал настроения природы.

Впрочем, бивачная жизнь в дельте не была сплошным блаженством. И все из-за воды. В лагунах она была соленой, а в реке, когда нам удавалось ее отыскать, — илистой. На каждой новой стоянке мы выкапывали очередной колодец. Однако чаще всего вода оказывалась чуть ли не соленей, чем в заливе. Мало-помалу, ценой тяжкого опыта, мы узнали, где следует копать. Проверая, годится ли новый колодец, мы опускали в него собаку, держа ее за задние лапы. Если она принималась лакать, значит,

можно было вытаскивать каноэ на песок, разводить костер и поставить палатку. Затем мы благодушествовали, пока в жаровне шишели перепелки, а солнце тонуло в золоте за грядой Сан-Педро-Мартир. Потом, вымыв посуду, мы заново переживали события дня и слушали звуки ночи.

Планов на следующий день мы не строили, давно убедившись, что на лоне дикой природы еще до завтрака обязательно случается что-нибудь непредвиденное и неотразимо соблазнительное. Подобно реке, мы были вольны подчиняться только своим желаниям.

Путешествовать в дельте по плану — дело нелегкое. Мы убеждались в этом всякий раз, когда залезали на тополь для более широкого обзора.

Обзор оказывался настолько широким, что долго оглядываться по сторонам не хотелось, а особенно смотреть на северо-запад, где у подножия Сьерры вечным миражем висела белая полоса великих солончаков, где в 1829 году Александр Патти погиб, убитый жаждой, переутомлением и комарами. У Патти был план: добраться до Калифорнии через дельту.

Однажды мы составили план пройти пешком со всем снаряжением от одной зеленой лагуны до другой, еще более зеленой. Что она там есть, мы знали по тучам круживших над ней водных птиц. Расстояние равнялось тремстам ярдам, но идти надо было через заросли качинильи — высокого и словно щетинящегося копиями кустарника, густого до невероятности. Разливы наклонили копыя, и они преграждали нам путь, точно македонская фаланга. Мы благоразумно отступили, решив, что наша лагуна все равно красивее.

Заблудиться в бесконечных фалангах качинильи было бы крайне опасно, хотя никто нас об этом не предупреждал, а вот с опасностью, о которой нам твердили, мы так и не столкнулись. Когда мы пересекли в своем каноэ мексиканскую границу, нам принялись пророчить страшную гибель. Куда более крепкие суда, убеждали нас, не выдерживали удара приливной волны — водяного вала, который во время некоторых приливов с бешеной скоростью мчится вверх по протокам. Мы без конца обсуждали эту волну, мы строили сложные планы, как ее перехитрить, мы даже видели ее во сне с дельфинами на гребне и с воздушным эскортом волящих чаек. Добравшись до устья, мы подвесили каноэ на дерево и ждали двое суток, но волна нас подвела. Она так и не появилась.

Ни одно место в дельте не имело названия, и нам приходилось самим их придумывать. Одну лагуну мы окрестили Риллито, и именно там мы увидели жемчуга в небе. Мы лежали на спине, всей кожей впитывая поябрьское солнце, и лениво следили за парящим в вышине сарычом. И вдруг высоко над нами появилось

вращающееся кольцо белых пятен, по очереди то исчезающих, то возникающих. Дальний звук трубы подсказывал нам, что это журавли, которые озирают свою дельту и видят, что она хороша. В то время мои орнитологические познания были домашней варки, и мне хотелось думать, что это — американские журавли, ведь они были такие белые! На самом деле мы, конечно, наблюдали канадских журавлей, но это совершенно неважно. А важно то, что мы делили безлюдье дикой природы с самой дикой из ныне живущих птиц. Мы и они делили общий приют в самой уединенной крепости пространства и времени, вернувшись в плейстоцен. Если бы мы умели, то непременно ответили бы им трубным приветом. И теперь я через долгую вереницу лет все еще вижу, как они кружат в вышине.

Все это было давно и в дальних краях. Мне говорили, что на зеленых лагунах теперь выращивают мускусные дыни. Если так, они должны быть удивительно душистыми.

Человек всегда убивает то, что любит *, и мы, первопоселенцы и первопроходцы, убили нашу дикую природу. Некоторые говорят, что у нас не было выбора. Пусть так, но я рад, что мне не придется быть юным на земле, где нет дикой природы, чтобы приобщить к ней свою юность. Зачем нужны сорок свобод, если на карте нет ни единого белого пятна?

ПЕСНЯ ГАВИЛАНА

Песня реки — это мелодия, которую вода играет на камнях, корнях и в быстрынах.

У Рио-Гавилана есть такая песня. Это приятная мелодия, повествующая о веселых быстрынах и о жирных форелях, дремлющих под обомшелыми корнями белых кленов, дубов и сосен. А кроме того, она полезна: звон воды переполняет узкий каньон, так что олени и дикие индейки, спускающиеся с холмов напиться, не слышат шагов ни человека, ни лошади. Будьте внимательны, оглябая очередной мысок: один удачный выстрел — и вам уже не придется карабкаться по крутым обрывам в поисках добычи.

* Перефразированная цитата из поэмы О. Уайльда «Баллада Реддингской тюрьмы». — *Прим. переа.*

Песня воды доступна каждому уху, но в этих холмах есть музыка, слышная далеко не всем. Чтобы уловить хотя бы несколько нот, надо долго прожить здесь и узнать язык холмов и рек. И вот в безветренную ночь, когда лагерные костры догорают, а Плеяды уже взойти над краем каньона, сядьте совсем тихо и, прислушиваясь, не завоет ли волк, припоминайте все, что вы видели и пытались понять. Быть может, тогда она зазвучит для вас — необъятная гармония, партитура которой написана на тысячах холмов потными знаками жизни и смерти растений и животных, а ритмы сливаются воедино секунды и века.

Жизнь каждой реки поет свою песню, но нередко эта песня уже давно искажена диссонансами бездумной порчи. Беспощадное истощение пастбищ губит сначала растения, а потом почву. Затем ружья, капканы и яды сводят на нет крупных млекопитающих и птиц, после чего создается национальный парк с дорогами и туристами. Парки создаются для того, чтобы музыку дикой природы могли услышать многие, но к тому времени, когда эти многие научатся слушать, не останется почти ничего, кроме нестройного шума.

Когда-то были люди, которые обитали у реки, не нарушая гармонии ее жизни. На Гавилане они, наверное, исчислялись тысячами, потому что следы их трудов сохранились повсюду. Поднимитесь по любой долине, смыкающейся с любым каньоном, и вы обнаружите, что карабкаетесь по маленьким террасам с каменными парашетами — верх одного парашета расположен на уровне основания следующего. За каждым парашетом — небольшой клочок земли, бывший некогда полем или огородом и получавший дополнительную влагу от ливней, хлеставших соседние крутые склоны. На гребне можно обнаружить фундамент сторожевой башни: наверное, земледелец некогда нес здесь дозор, охраня лоскутки своих полей. Воду для домашних нужд он, по-видимому, брал из реки, а домашних животных у него как будто не было вовсе. Что он выращивал здесь? И как давно? Единственный намек на ответ дают трехсотлетние сосны, дубы и можжевельники, выросшие на его былых полях. Во всяком случае, это было раньше, чем там пустили корни самые старые деревья.

Олени любят лежать на этих маленьких террасах, где ровная, без камней земля устлана дубовыми листьями и огорожена кустарником. Прыжок через парашет — и олень скрывается из виду, прежде чем непрошенный гость успеет его заметить.

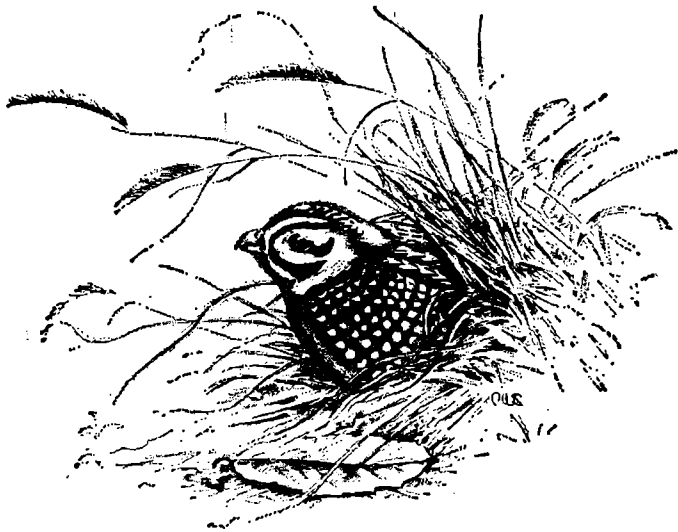
Как-то раз при пособничестве ревущего ветра я подкрался сверху к оленю, лежавшему на парашете в тени огромного дуба, чьи корни оплели древнюю каменную кладку. Его рога и уши четко вырисовывались на фоне золотой травы бутелоа, среди



которой виднелась зеленая розетка лофофоры Вильямса. Все вместе слагалось в удивительно гармоничную картину. Я промахнулся, и моя стрела, перелетев через оленя, разбилась о камни, уложенные древним индейцем. Вздернув на прощанье белоснежный хвост, олень умчался вниз по склону, и я вдруг понял, что мы с ним были актерами в аллегории. Прах — праху, каменный век — каменному веку, и во веки веков — погоня! И хорошо, что я промахнулся, ибо когда на месте моего нынешнего огорода вырастет огромный дуб, надеюсь, тогда тоже будут олени, чтобы лежать на его палых листьях, и охотники, чтобы выслеживать их, и промаховаться, и раздумывать, кто построил эту ограду и когда.

В один прекрасный день мой олень получит пулю в свой лоснящийся бок. Его ложе под дубом займет неуклюжий бык и будет жевать золотую бутелoa, пока ее не заменит бурьян. Затем после ливня бешеный поток разворотит старый парапет и сбросит его камни в кювет туристского шоссе у реки внизу. Грузовики будут пылить там, где вчера я видел на тропе следы волка.

Поверхностному взгляду берега Гавплана покажутся каменистыми и неприветливыми — почти отвесные склоны, мрачные обрывы, деревья, настолько искривленные, что не годятся в дело, крутые холмы, где скоту трудно пастись. Но древние строители террас не дали себя обмануть. Они по опыту знали, что это край млека и меда. Эти искривленные дубы и можжевельники каждый год выстилают землю желудями и шишками, которые диким созданиям остается только подбирать. Олени, дикие индейки и пекари целыми днями занимаются тем, что, словно бычки на кукурузном поле, преобразуют этот корм в сочное мясо. А золотая трава прячет под колышущимися плюмажами подземный огород



луковиц и клубней, включая дикий картофель. Вскройте зоб жирной пестрой перепелки, и вы обнаружите самые разнообразные корма, выкопанные из земли, которую вы считали бесплодной. Эти корма можно уподобить воздуху, нагнетаемому растениями в великолепный орган, который мы называем фауной.

У каждой области есть свой деликатес, символизирующий ее изобилие. Гастрономическую эмблему холмов Гавилана можно получить так: убейте отъевшегося на желудях оленя не раньше ноября и не позже января. Подвесьте его к суку вечнозеленого дуба на семь морозных почей и семь солнечных дней, затем вырежьте полузамороженные «ремни», укрытые слоем жира под седлом, и разрежьте их поперек на куски. Каждый кусок натрите солью, перцем и мукой, а затем бросьте в жаровню с кипящим медвежьим жиром, стоящую на дубовых углях. Выньте жаркое, едва оно покоричневевет. Подсыпьте в жир немного муки, влейте ледяной воды, а потом молока. Положите жаркое на горячую лепешку из кислого теста и залейте их соусом.

Это сооружение символично. Олень лежит на своей горе, а золотой соус — это солнечный свет, в котором он купается даже после смерти.

Пища — вот мотив, непрерывно звучащий в песне Гавилана. Разумеется, я имею в виду не только вашу пищу, но и пищу для дуба, который кормит оленя, который кормит пуму, которая уми-

рает под дубом и превращается в желуди для своей бывшей добычи. Это один из множества циклов питания, начинающихся с дубов и завершающихся ими же, ибо дубы, кроме того, кормят сойку, которая кормит ястреба-тетеревятника, который дал имя вашей реке. И медведя, чей жир пошел на ваш соус, и перепелку, которая преподавала вам урок ботаники, и дикую индейку, которая ежедневно натягивает вам нос. А общая цель всего этого — помочь источникам, питающим Гавилан, унести еще один комочек почвы с широкого бока Сьерра-Мадре, чтобы взрастить еще один дуб.

Есть люди, на которых возложен долг изучать структуру растений, животных и почв, то есть инструментов великого оркестра. Этих людей называют профессорами. Каждый выбирает один инструмент и тратит жизнь на то, чтобы разобрать его и описать по отдельности каждую струну и деку. Этот процесс потрошения называется научными исследованиями. А место, где потрошат, называется университетом.

Профессор пощипывает струны только своего инструмента, и если он даже слушает музыку, то никогда не признается в этом своим коллегам или студентам. Ибо все подчиняются железному табу, согласно которому конструкция инструментов — это область науки, а гармонию пусть выискивают поэты.

Профессора служат науке, наука служит прогрессу. И служит ему так хорошо, что в спешке распространить прогресс на все края, куда он еще не проник, многие из наиболее тонких инструментов оказываются растоптанными и сломанными. И одна за другой вычеркиваются части из песни песней. А профессор вполне удовлетворен, если успевает классифицировать каждый инструмент перед тем, как его ломают.

Наука приносит миру блага не только материальные, но и нравственные. Среди этих последних одно из самых великих — объективность, или научная точка зрения. Это означает: сомневайся во всем, кроме фактов. Это означает: обтесывай все до фактов, а щепки пусть летят куда попало. Один из фактов, вытесанных наукой, таков: каждой реке нужно больше людей, а всем людям нужно больше изобретений и, следовательно, больше науки. Хорошая жизнь зависит от бесконечного продолжения этой логической цепи. То, что хорошая жизнь на любой реке может зависеть и от восприимчивости ее музыки, а также от сохранения этой музыки, чтобы было что воспринимать, — такую идею наука еще не рассматривала, ибо подобные сомнения ей чужды.

Наука пока не добралась до Гавилана, а потому выдра еще играет в салочки на его быстринах и плесах и выгоняет жирную форель из-под мшистого берега, ни на секунду не задумываясь о наводнении, которое в один прекрасный день унесет этот берег

в Тихий океан, или о рыболове, который в один прекрасный день явится оспаривать ее право на форель. Подобно ученым, выдра не сомневается в своем жизненном предназначении. Она твердо уверена, что для нее Гавилан будет петь вечно.

Орегон и Юта

КОСТЕР НАБИРАЕТ СИЛУ

Воров объединяет круговая порука, вредные растения и животные сотрудничают между собой и поддерживают друг друга. Если естественная преграда остановит вторжение одного вредителя, другой находит способ ее преодолеть. В конце концов каждая область и каждый источник питания получает свою квоту непрошенных экологических гостей.

Так, на смену домовому воробью, едва его обезвредило исчезновение лошади как главной тягловой силы, явился скворец, кормящийся возле тракторов. Вслед за эндотией, поражающей раком кору каштанов и не имевшей визы дальше западной границы их распространения, является голландская болезнь ильмовых, у которой есть все шансы добраться до западной границы распространения вязов. Пузырчатая ржавчина веймутовой сосны, чье наступление на запад остановили безлесные равнины, сумела высадиться в тылу и резво опускается со Скалистых гор из Айдахо к Калифорнии.

Непрошенные экологические гости начали прибывать на континент с первыми поселенцами. Шведский ботаник Петер Кальм еще в 1750 году нашел в Нью-Йорке и Нью-Джерси почти все европейские сорняки, какие существуют там теперь. Они распространялись с той быстротой, с какой плуг первопоселенца успевал подготовить почву для их семян.

Другие явились позднее с запада на огромные уже готовые для них площади, вытоптаные пасущимися рогатым скотом. В этих случаях распространение нередко бывало настолько молниеносным, что его не успевали заметить: просто в одну прекрасную весну оказывалось, что пастбище заполонил новый сорняк. Характерным примером может служить вторжение крошечного костра (*Bromus tectorum*) в северо-западные междугорья и предгорья.

Чтобы вы не отнеслись излишне снисходительно к этой новой добавке в общую мешанину, я хотел бы объяснить, что костер не образует живого дерна, как многолетние травы. Это однолетний травянистый сорняк, вроде лисохвоста или росички, погибающий каждую осень, чтобы весной взойти из прошлогодних семян. В Европе он растет на гниющих соломенных кровлях, и его латинское обозначение происходит от слова «тектум», что значит «крыша». Растение, способное существовать на крыше дома, будет благоденствовать на плодородной, хотя и сухой крыше континента.

И теперь медово-желтые холмы, окаймляющие северо-западные горы, получают свой цвет не от таких сочных и полезных трав, как спороболус или пырей, которые некогда их покрывали, но от вытеснившего их ни на что не годного костра. Автомобилист, не зная об этой замене, любуется волнами холмов, уводящих его взгляд к горным вершинам. Ему не приходит в голову, что и холмы маскируют изъяны на своей коже экологической пудрой.

Замена же произошла из-за бездумного истощения пастбищ. После того как слишком уж большие стада и отары выщипали и вытоптали защитный покров холмов, что-то должно было укрыть обнаженную, выветриваемую почву, и это сделал костер.

Костер растет очень густо, и каждый стебель несет множество колючих остей, которые делают зрелое растение несъедобным для скота. Если хотите понять, что испытывает корова, пытаясь есть зрелый костер, попробуйте пройти через его заросли в туфлях. Все, кто работает под открытым небом в краях, где растет костер, носят сапоги. А в нейлоновых чулках там ходят только по дощатым мосткам или бетонным дорожкам.

Эти колючие ости укрывают осенние холмы желтым одеялом, которое воспламеняется с легкостью ваты. Обезопасить захваченный костром край от пожаров практически невозможно. В результате остатки хороших кормовых растений, вроде полыни и трехзубчатой пурши, выгорают вплоть до верхних склонов, где их труднее заготавливать на зиму. Пожары отесняют все выше сосновые леса, которые служат приютом для оленей и птиц.

Несколько сгоревших в предгорьях кустов вряд ли покажутся большой потерей летнему туристу. Он ведь не знает, что зимой из-за снега горы недоступны ни для домашних, ни для диких животных. Домашний скот кормят в долинах хозяева, но олени и вапити либо находят корм в предгорьях, либо погибают от голода. Пригодный для зимовки пояс очень узок, и чем дальше на север, тем больше диспропорция между областью, пригодной для обитания зимой, и областью, пригодной для обитания летом. Вот почему разбросанные по предгорьям островки дубрав, полыни и трехзубчатой пурши являются залогом выживания диких жи-

вотных во всей этой области. Но их все больше и больше уничтожают пожары. К тому же они нередко укрывают последние остатки местных многолетних трав, и, когда их пожирает огонь, скот быстро приканчивает эти остатки. Пока охотники и скотоводы спорят о том, кто первый должен позаботиться о сохранении зимних пастбищ, костер продолжает набирать силу, и недалек тот день, когда спорить будет не о чем.

Костер оказывается причиной и многих других неприятностей, по большей части, пожалуй, менее важных, чем умирающие от голода олени или язвы во рту коров, однако заслуживающих упоминания. Костер вторгается в люцерновые луга и портит сено. Он не дает утиным выводкам спуститься от гнезда на склоне к воде в долине. Он пробирается в пояс лесов, душит там сеянцы сосны, а более старым деревьям угрожает пожаром.

Мне тоже было неприятно, когда при въезде в северную Калифорнию карантинный чиновник обыскал мою машину и багаж. Он вежливо объяснил, что Калифорния рада туристам, но не может допустить, чтобы они в своем багаже ненароком ввозили в штат вредителей, будь то растения или насекомые. Я спросил, каких именно, и он долго перечислял возможных губителей огородов и садов, но не упомянул про желтое одеяло костра, которое уже простиралось во все стороны от его ног до холмов на горизонте.

Как это было с карпом, скворцом и поташником, области, пораженные костром, превращают необходимость в добродетель и пытаются извлечь пользу из непрошеного гостя. Молодые стебли костра — неплохой корм, но молодыми они остаются недолго. Вполне возможно, что барашек, которого вы ели за обедом, щипал костер в ласковые дни весны. Костер препятствует эрозии, которая иначе последовала бы за вытаптыванием пастбищ, открывшим дорогу костру. (Подобные хороводы экологических причин и следствий заслуживают серьезных размышлений.)

Я внимательно слушал, стараясь разобраться, смирились ли западные штаты с костром, как с неизбежным злом, от которого нет избавления, или же костер вызывает желание исправить былые ошибки в использовании земли, но практически повсюду сталкивался с безнадежным равнодушием. Пока еще никто не испытывает гордости, опекая диких животных и дикие растения, и никто не стыдится, что его земля поражена недугом. Мы сражаемся в залах конференций с ветряными мельницами во имя сохранения природы, но когда дело доходит до дела, объявляем, что у нас даже и копы не было.

КЛАНДЕБОЙ

Боюсь, что получать образование — это значит учиться видеть одно, разучаясь видеть другое.

Так, очень многие из нас разучились видеть красоту болот. Я убеждаюсь в этом всякий раз, когда в качестве особой любезности везу гостя в Кландебой и замечаю, что для него это всего лишь болото, но только еще более унылое и вязкое, чем большинство болот.

Как странно! Ведь любой пеликан, лунь, веретенник или длинноклювая поганка знают, что Кландебой — особое болото. Иначе почему они предпочитают его всем другим? Почему мое появление там возмущает их так, словно я нарушаю не просто права их собственности, но и все приличия?

По-моему, дело в том, что Кландебой — болото особое не только в пространстве, но и во времени. Считать, будто 1941 год наступил одновременно во всех болотах, способны лишь те, кто некритически верит хрестоматийной истории. Но птицы знают истину. Стоит легкому ветру повеять с Кландебоя навстречу стае летящих на юг пеликанов, и они сразу ощущают, что внизу их ждет возвращение в геологическое прошлое, в убежище от самого безжалостного врага — от будущего. Испуская странное доисторическое кваканье, они величавыми спиралями спускаются в гостеприимные пределы давно ушедшей эры.

Другие беженцы уже там, и каждый по-своему воспринимает эту возможность передохнуть от неумолимого хода времени. Над ржавой водой, словно разыгравшиеся ребятишки, пронзительно кричат форстеровские крачки — так, как будто плавники евдошек подрагивают не в этой воде, а в первых холодных потоках, льющихся с отступающих ледников. Вереница канадских журавлей трубит вызов всему, чего опасаются и страшатся журавли. По заливу тихо и величаво плывут лебеди, оплакивая исчезновение всего, что дорого лебедям. С вершины разбитого грозой тополя там, где болото смыкается с большим озером, сапсан, балуясь, кидается на пролетающих птиц. Он по горло сыт утиным мясом, но ему нравится пугать отчаянно вопящих чирков. Так же развлекался он и в те дни, когда прерии покрывало озеро Агасиз.

Понять настроение этих гостей болота нетрудно — они и не думают его скрывать. Но состояние духа одной беглянки, нашедшей приют в Кландебое, остается для меня тайной, потому что

она не терпит присутствия людей. Пусть другие птицы легкомысленно поверяют свои секреты выскочкам в болотных сапогах, но длинноклювая поганка до этого не снизойдет! Как бы осторожно ни подкрадывался я к разделяющему нас тростнику, я вижу только блеск серебра, когда она беззвучно уйдет под воду, а затем из-за ширмы тростника на противоположном берегу она зазвенит колокольчиком, предупреждая о чем-то всех себе подобных. Но о чем?

Ответа я так и не нашел, потому что эту птицу и род человеческий разделяет какая-то стена. Кто-то из моих гостей покончил с поганкой, поставив галочку против ее названия в списке и изобразив сбоку буквами звоп колокольчика — «клик-клик» или другую невнятную в том же роде. Он не почувствовал, что это не просто птичий крик, что это тайная весть, которую нужно не воспроизводить неуклюжими искусственными средствами, но перевести и понять. Как ни горько, мне до сих пор не удалось этого сделать, и тайна останется для меня столь же темной, как и для него.

С каждым весенним днем колокольчик звенит все настойчивее: на рассвете и в сумерках он раздается над всеми плесами, и я понимаю, что птенцы уже привыкают к жизни на воде и родители наставляют их в философии поганок. Но увидеть, как это происходит, очень непросто.

Однажды я улегся ничком возле жилища ондатры и зарылся в грязь. Пока моя одежда впитывала местный колорит, моя глаза впитывали жизнь болота. Мимо проплыла самка красноголового нырка со своим караваном утят — красноклювых шариков зеленовато-золотистого пуха. Виргинский пастушок чуть не задел меня по носу. Тень пеликана скользнула по заводи. На кочку с мелодичным свистом опустился желтоногий улит, и мне пришлось в голову, что я могу написать стихотворение лишь ценой огромных умственных усилий, а он несколькими шажками создает куда более прекрасные стихи.

На берег позади меня змеиным движением выбралась норка — она задирает нос, кого-то выслеживая. Болотный крапивник то и дело нырял в густые тростники, откуда доносился настойчивый писк птенцов. Солнце припекало, и я начал было подремывать, как вдруг из заводи сверкнул дикий красный глаз и возникла птичья голова. Убедившись, что все спокойно, появилась и вся птица, большая, как гусь, с серебристо-серым туловищем-торпедой. Я не успел понять, когда и откуда взялась вторая поганка, но она уже плыла прямо напротив меня, а на ее широкой спине ехали два жемчужно-серебристых птенца, уютно устроившись в манеже из приподнятых крыльев. Семья исчезла за мыском преж-

де, чем я опомнился, и из-за завесы тростников донесся звон колокольчика, переливчатый и насмешливый.

Ощущение истории — вот высший дар науки и искусства, но я подозреваю, что поганка, которая ничего от них не получает, лучше осведомлена в истории, чем мы. Ее смутный первобытный мозг не ведает, кто победил в битве при Гастингсе, но он словно бы ощущает, кто победил в битве времеш. Если бы род человеческий был столь же стар, как род поганок, мы сумели бы постигнуть смысл их крика. Подумайте, сколько традиций, сколько мудрости, сколько новых причин для гордости и презрения приносят нам даже два-три осознающих себя поколения. Так какая же гордость непрерывной преемственности должна двигать этой птицей, которая была поганкой за миллионы лет до того, как на земле появился человек!

Но как бы то ни было, в крике поганки скрывается какая-то странная власть — он главенствует в болотном хоре и ведет его. Быть может, еще в незапамятные времена ей была вручена дирижерская палочка оркестра всей биоты. Кто задает такт озерным волнам, которые, накатываясь на берег, создают все новые и новые отмели для все новых и новых болот по мере того, как век за веком вода отступает все дальше? Кто велит ароннику и ситнику добросовестно пить солнце и воздух, чтобы зимой ондатры не вымерли от голода и болото не задушили безжизненные джунгли осоки? Кто днем учит терпению насидивающих уток, а по ночам пробуждает кровожадность в охотящихся норках? Кто воодушевляет цаплю точнее бить пикой, а сокола — стремительнее бросаться на цель? Поскольку мы не слышим, чтобы кто-нибудь обращался ко всем этим созданиям с увещанием неустанно выполнять их различные обязанности, нам кажется, будто за ними



никто не следит, будто умение их врожденное, а трудолюбие всегда механично, будто миру дикой природы неведомо утомление. Но может быть, утомление неведомо только поганкам, и, быть может, поганка напоминает им, что для того, чтобы все могли выжить, каждый обязан без усталости есть и драться, размножаться и умирать.

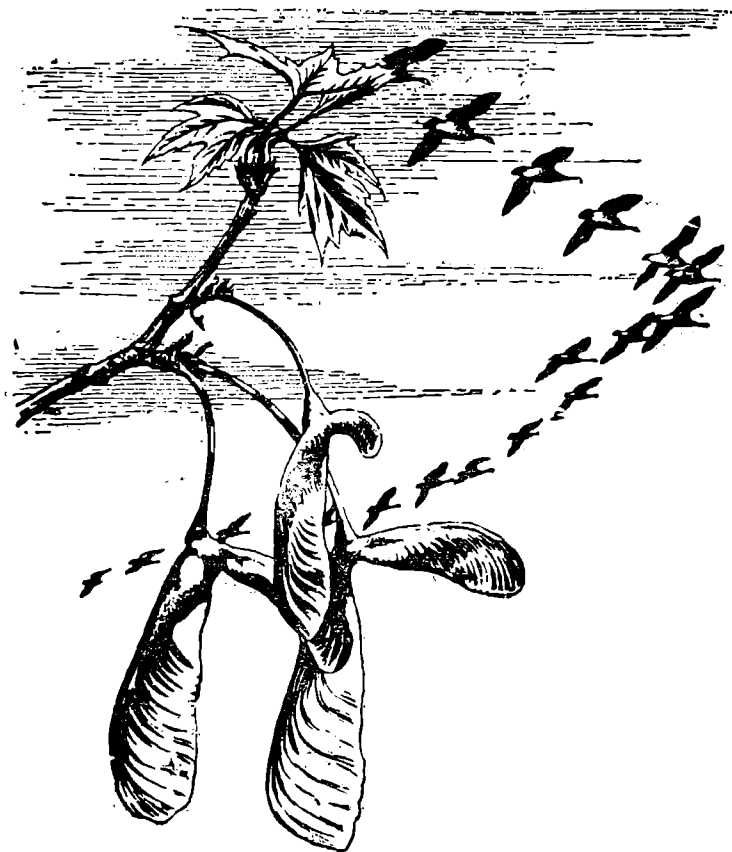
Болота, некогда простиравшиеся по прериям от Иллинойса до Атабаски, сжимаются, отступают к северу. Человек не может жить единым болотом, а потому он вынужден жить вовсе без болот. Прогресс не терпит, чтобы культурные поля и дикие болота существовали бок о бок во взаимной терпимости и гармонии.

И вот с помощью землечерпалок и дамб, дренажных труб и сварочных аппаратов мы досуха высосали кукурузный пояс, а теперь взялись за пшеничный. Голубое озеро превращается в зеленую трясицу, зеленая трясица — в спекшийся ил, спекшийся ил — в пшеничное поле.

Придет время, и мое болото, перекопанное и осушенное, будет погребено под пшеницей, как нынешний день и день вчерашний будут погребены под грядущими годами. И прежде, чем последняя евдошка забьется в последней лужице, крачки прокричат «прощай» Кландебою, лебеди в белоснежном величии поднимутся по спирали в небо и журавли протрубят последнее прости.

Часть III

**ВКУС
К ПРИРОДЕ**



Существует некоторая путаница между понятиями «земля» и «природа». Земля — это то, на чем растут кукуруза, овраги и закладные. Природа — это личность земли, гармония ее почвы, жизни и климата. Природа не знает ни закладных, ни федеральных агентов, ни табачных дорог. Она остается спокойно равнодушной к подобным мелким досадам, которые чинят ей самозванные ее владельцы. То, что прежним хозяином моей фермы был бутлегер, несколько не трогало рябчиков: они взмывали над чащей столь же гордо, как если бы были гостями короля.

Бедная земля может быть богата природой, и наоборот. Только экономисты принимают материальное изобилие за богатство. Природа бывает богатой вопреки внешней бедности, и ее красота не обязательно очевидна с первого взгляда и в любое время.

Я знаю, например, озерный берег, где над вымытым волнами песком в строгом спокойствии встают сосны. Весь день он для вас — просто то, на что накатываются волны, темная лента, теряющаяся вдаль, куда вам не доплыть, однообразная шкала, чтобы отмечать мили. Но перед закатом случайный порыв ветра поднимает чайку над мысом, за которым вдруг закричат гагары, выдавая, что там спрятана бухта. И вас охватит неодолимое желание пристать там, ступить на ковер толокнянки, соорудить себе постель из веток бальзамической пихты, наворовать морских слив и черники, а может быть, и подстрелить куропатку в тихих приозерных кустах за дюнами. Бухта? Так, может, и ручей с форелью? Весла резко закручивают воронки, нос поворачивается прямо к берегу и, разрезая зеленеющую воду, устремляется к месту ночлега.

А позже над бухтой лениво повпсает дым костра, язычки пламени мерцают под пологом ветвей. Это скудная земля, но богатая природа.

Лес может щеголять сочной зеленью и быть лишепным очарования. Высокие стройные дубы и тюльпанные деревья кажутся



красивыми с шоссе, но стоит углубиться в них — и подлесок окажется грубым, ручей — мутным и нигде не будет видно следов диких животных. Я не могу объяснить, почему поток рыжей воды — это не ручей. И не могу путем логических выкладок доказать, что чаща, из которой никогда уже, как удар грома, не взлетит перепелный выводок — всего лишь скучный колючий кустарник. Но тот, кто жил на природе, знает, что это так. Считать, будто дикие животные созданы только для того, чтобы в них стреляли или на них смотрели, — непростительное заблуждение. Часто они знаменуют различие между богатой природой и всего лишь землей.

Есть леса, невзрачные на вид, но совсем иные, когда в них войдешь. Что может быть невзрачнее рощицы в кукурузном поясе? Но в августе растертый между пальцами листик болотной мяты или перезревший подофилл скажут вам, что это — настоящее. Октябрьское солнце на орехе гикори неопровержимо свидетельствует о красоте природы. Ты ощущаешь не только гикори, но и



целую цепь следствий: быть может, дубовые угли в сумерках, молодую белку в темнеющей шубке и дальний хохот неясны над собственной шуткой.

Вкус к природе выявляет такое же индивидуальное разнообразие эстетического восприятия, как и вкус к опере или картинам. Есть люди, которые рады, чтобы их толпами знакомили с «прекрасными пейзажами», и находят горы величественными, если там, как положено, есть водопады, утесы и озера. Таким равнины Канзаса покажутся скучными. Они видят бесконечную кукурузу, но не замечают запряжек волов, трудолюбиво поднимающих целину. История для них произрастает в университетах. Они глядят на плоский горизонт, но не видят его под брюхом бизонов, как некогда видел де Вака.

Разные края, подобно людям, часто прячут под скромной внешностью редкие богатства, и, чтобы узнать их, нужно долго прожить в таком краю или с таким человеком. Нет ничего однообразнее заросших можжевельником предгорий, пока какой-нибудь патриарх, тысячу раз видевший наступление лета, обремененный сизыми ягодами, вдруг не выбросит синее облако тараторящих соек. Унылое кукурузное поле в марте сразу перестает быть унылым, едва ему пошлет с неба привет хотя бы один гусь.

Досуг человека

Текст этой проповеди взят из евангелия от Ариосто. Не знаю ни главы, ни стиха, но вот что говорит поэт: «Как жалки праздные часы невежественного человека!»

Не так уж много текстов я готов принять как евангельскую истину, но в этот я верю. Я готов встать и свидетельствовать, что он — сама правда, как его ни читай, с начала, с конца или даже перед завтраком. Человек, не находящий радости в своем досуге, — невежда, пусть даже для перечисления его ученых званий не хватит и пяти строк, а человек, ее находящий, уже образован, хотя бы он ни разу не переступил школьного порога.

По-моему, нет ошибки опасней, чем проповедовать свои увлечения людям, у которых их нет. Это значит навязывать их, а навязанное увлечение бессмысленно и бесполезно по самой своей идее. Не вы ищете для себя увлечения, оно находит вас. Рекомендовать увлечение столь же рискованно, как рекомендовать жену, — вероятность счастливого исхода в обоих случаях примерно равна.

А потому будем считать, что все дальнейшее — только обмен мыслями с теми, кем уже овладела, на радость или на беду, страстная потребность делать то, что обычно считают чудачеством. Остальные же пусть слушают, если хотят, и извлекают пользу из нашего поведения, если сумеют.

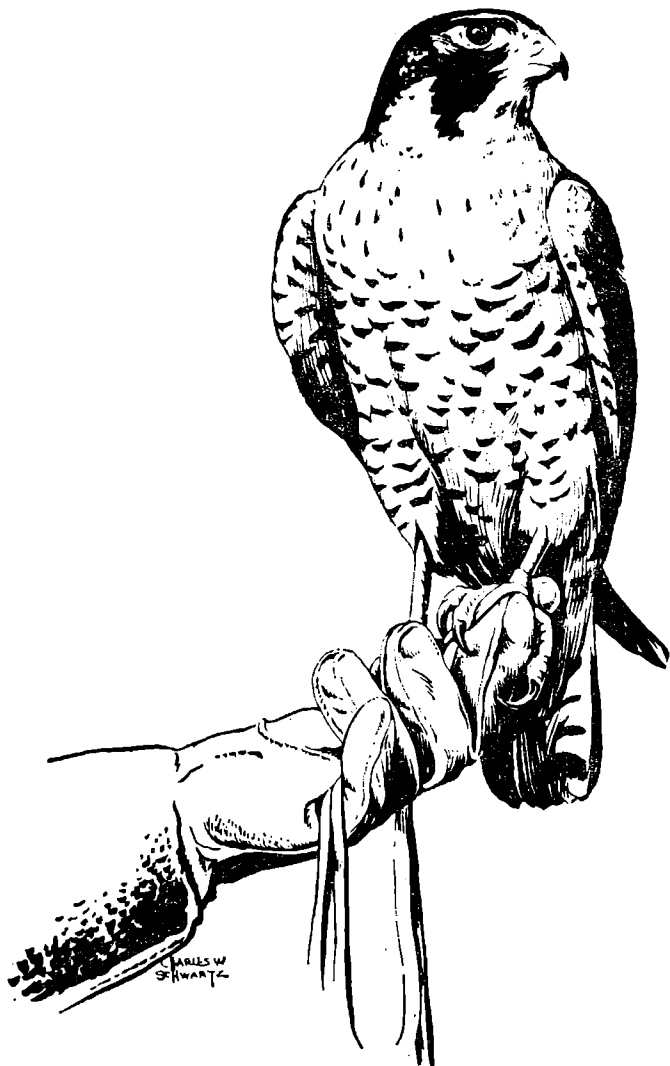
Но что такое увлечение? Где проходит демаркационная линия между увлечением и обычными занятиями? Сам я удовлетворительного ответа на этот вопрос не нашел. В первый момент напрашивается соблазнительное предположение, что увлечение обязательно должно быть в значительной степени бесполезным, непродуктивным, трудоемким или ни к чему не приложимым. Бесспорно, в наши дни большинство увлечений сводится к тому, чтобы своими руками изготавливать нечто такое, что машины, как правило, изготавливают быстрее, дешевле, а нередко и лучше. Тем не менее беспристрастие требует признать, что в иную эпоху конструирование машин могло быть весьма почтенным увлечением. Однако в наши дни изобретение новой машины, сколь ни полезна была бы она для промышленности, как увлечение не стоило бы ничего. Возможно, тут мы и нащупываем глубинную суть вопроса: увлечение — это бунт против современного положения вещей, это утверждение тех непреходящих ценностей, которые отвергаются или забываются в очередных завихрениях социальной эволюции. Если я прав, то отсюда следует, что каждый увлеченный человек обязательно радикал и всегда принадлежит к меньшинству.

Но это уже что-то серьезное, а серьезность, когда речь идет об увлечениях, вещь непростительная. Само собой разумеется, что увлечение не ищет рациональных оправданий и не нуждается в них. Желание что-то делать — уже достаточная причина. Всякое объяснение, почему увлечение полезно или благотворно, превращает его из страсти в профессию, низводит на унижительный уровень «упражнений», сулящих здоровье, силу или выгоду. Упражнения с гантелями не увлечение. Это признание своей зависимости, а не подтверждение своей свободы.

Когда я был мальчишкой, на окраине нашего городка жил в маленьком домике старый лавочник-немец. По воскресеньям он имел привычку отбивать кусочки от известняковых пластов на высоком берегу Миссисипи, и у него набралось целые тонны этих осколочков, все снабженные ярлычками и записанные в каталог. Они содержали окаменевшие скелеты морских лилий — давно вымерших крохотных обитателей моря. Жители городка считали тихого старичка немного сумасшедшим, но безобидным чудаком. Однажды местная газета сообщила о приезде именитых гостей. Тут же пошли разговоры, что все это известные ученые. Среди них были иностранцы, и многие принадлежали к числу ведущих палеонтологов мира. Они приехали навестить безобидного старичка, послушать, что он скажет о морских лилиях, и принимали его слова как закон. Когда старый немец скончался, его сограждане вдруг поняли, что он был истинным светилом в своей области, собирателем новых знаний, творцом научной истории — великим человеком, рядом с которым местные промышленные магнаты выглядели тупой деревенщиной. Его коллекцию унаследовал национальный музей, а его имя известно во всех странах мира.

Я знавал банковского президента, который увлекался розами. Благодаря розам он был счастливым человеком и лучше руководил своим банком. Я знаком с фабрикантом колес, который увлекается помидорами. Он знает о них все, и в результате он, кроме того, знает все о колесах — а может быть, и наоборот. Я знаком с водителем такси, влюбленным в сахарную кукурузу. Заведите с ним разговор на эту тему, и вы будете поражены не только тем, сколько он знает, но и тем, сколько тут можно узнать.

Самым романтичным из современных увлечений я считаю возрождение соколиной охоты. В Америке есть несколько ее любителей да в Англии наберется их с десятков — поистине меньшинство! За два с половиной цента можно купить пулю и убить цаплю, которая стала бы трофеем сокола только после долгих месяцев, если не лет, тщательной подготовки и сокола и сокольничего. Смертонос-



ная пуля — совершенный продукт индустриальных процессов. Ее смертоносное действие можно выразить точной формулой. Смертоносный сокол — это совершенный цветок тех все еще окутанных тайной процессов, которые мы зовем эволюцией. Ни один человек не может и, вероятно, никогда не сможет постигнуть охотничий инстинкт, который мы делим с нашим хищным слугой.

Никакая созданная человеком машина не может и никогда не сможет синтезировать безупречную координацию глаз, мышц и крыльев сокола, пикирующего на свою добычу. Добытая им цапля неседобна, а следовательно, и бесполезна (хотя в старину любители соколиной охоты, кажется, их ели — так современный мальчишка жарит на костре и ест блохастого кролика, который пал жертвой его рогатки, дубинки или лука). Кроме того, сокол из-за малейшей ошибки в обращении с ним может либо «стать домашним», либо навсегда исчезнуть в небесной синеве. Короче говоря, соколиная охота — идеальное увлечение.

Сюда же относится и страсть самому делать лук и стрелять из него. Среди непосвященных бытует крамольное убеждение, будто в руках специалиста лук — весьма эффективное оружие. Каждую осень около ста висконсинских опытных лучников берут разрешение и отправляются охотиться на оленей с боевыми стрелами. Быть может, одному из ста удастся, к собственному удивлению, вернуться с добычей. У охотников с ружьями оленя убивает один из пяти. А потому, как опытный лучник, я на основании нашей статистики с пегодованием отвергаю все обвинения в эффективности и готов признать только, что изготовление лука служит веской ссылкой, когда приходится объяснять, почему ты опоздал на работу или не вынес мусорное ведро в четверг.

Человек не может сам сделать ружье — во всяком случае я не могу. А вот луки я делать умею — и из некоторых даже можно стрелять. Да, кстати, наше определение, пожалуй, следует уточнить: в нынешнее время подлинное увлечение состоит в том, чтобы что-то изготовить — или изготовить орудие, чтобы изготовить что-то, — а затем использовать готовое изделие для какой-нибудь бесполезной цели. Когда нынешнее время останется позади, подлинное увлечение будет состоять в чем-нибудь совсем противоположном. То есть мы вновь возвращаемся к бунту против современного положения вещей.

Подлинное увлечение должно быть, кроме того, сопряжено с азартом и риском. Когда я гляжу на грубую, тяжелую, корявую, занозистую палку и мысленно вижу изящный сияющий лаком лук, который в один прекрасный день возникнет из ее невзрачного нутра, вижу этот лук, изогнутый безупречной дугой, чтобы мгновенно спустя рассечь небо сверкающей стрелой, я должен предвидеть и то, что вместо этого он, возможно, треснет и разлетится на куски, а передо мной развернется перспектива еще одного месяца усердного вечернего труда за верстаком. Иными словами, вероятное фиаско является неотъемлемым элементом всякого увлечения и гордо противостоит скучной уверенности, что с бесконечного конвейера обязательно будет сходить один «форд» за другим.



Подлинное увлечение может быть и мятежом одиночки против повседневности, и заговором группы единомышленников, например семьи. В любом случае это восстание, и, если оно безнадежно, тем лучше. Какой отчаянный возник бы хаос, если бы политические институты вдруг «взяли на вооружение» все нелепые идеи, бродящие в счастливой неудовлетворенности под покровом общепринятого! Но этого можно не опасаться. Поиски оригинальности—это высочайшее эволюционное достижение социального животного, и развиваться они будут не быстрее всех остальных функций. Наука только сейчас начинает открывать, какой жестокой регламентации подчиняются «свободные» дикари и еще более свободные звери и птицы. Увлечение — это, быть может, первый протест

против «иерархического порядка», который господствует в мире общественных существ и которому по-прежнему следует подавляющая часть человечества.

Круговая река

Одним из чудес древнего Висконсина была Круговая река, которая впадала сама в себя и потому струилась и струилась в нескончаемом круговороте. Нашел ее Поль Беньян, и Беньяновская сага повествует о том, как он сплавлял плоты по ее беспокойным волнам.

За Полем не водилось склонности говорить притчами, но на этот раз он себе изменил. Висконсин не только имел круговую реку, он сам — такая река. Ее воды — поток энергии, который течет из почвы в растения, затем в животных, затем назад в почву в нескончаемом круговороте жизни. «Прах праху» — это засушенный вариант понятия Круговой реки.

Мы, принадлежащие к роду *Ното*, плывем на плотках, увлекаемые Круговой рекой, и мало-помалу выработали приемы, чтобы направлять их движение и контролировать его скорость. Это последнее достижение дает нам право на видовое обозначение *sapiens* — «разумный». Приемы сплава называются экономикой, знание прежних путей зовется историей, выбор новых — государственной деятельностью, а разговоры о быстринах и порогах впереди — политикой. Кое-кто из плотогонов тщится вести не только свои плоты, но и весь сплав. Такое коллективное предъявление условий природе зовется национальным планированием.

Наша система школьного и высшего образования редко рисует биотическую непрерывность как единый поток. С самого нежного возраста нас пичкают фактами о почвах, флоре и фауне, которые составляют русло Круговой реки (биология), об их происхождении (геология и эволюция) и о приемах их использования (агрономия и механизация сельского хозяйства). Но понятие о потоке с разливами и засухами, заводами и перекатами оставляется в стороне — кто хочет, пусть выводит его сам. Чтобы изучить гидрологию биотического потока, мы должны направить ход наших мыслей под прямым углом к эволюции и исследовать коллективное поведение всего биотического материала. А для этого требуется вывернуть специализацию наизнанку: вместо того, чтобы узнавать все больше и больше о все меньшем и меньшем, мы должны узнавать все больше и больше о биотическом ландшафте в целом.

Экология — это наука, которая вопреки всем трудностям пытается мыслить в плоскости, перпендикулярной плоскости дарви-

новской теории. Экология — это ребенок, который только-только учится говорить и, подобно всем маленьким детям, увлеченно творит собственные звучные слова. Ее рабочие дни пока еще в будущем. Экологии суждено стать сводом сведений о Круговой реке, запоздалой попыткой претворить наше коллективное знание биотического материала в коллективную мудрость биотической логики. Умение же плыть по Круговой реке — это в конечном счете научная охрана природы.

Охрана природы означает гармонию между человеком и землей. В понятие «земля» входит также все живое на ней, над ней и в ней. Гармония в отношениях с землей — это как гармония в отношениях с другом: нельзя нежно поглаживать одну его руку и рубить другую. Иными словами, нельзя любить дичь и ненавидеть хищников, нельзя беречь воды и вытаптывать холмы, нельзя растить лес и истощать ферму. Земля — единый организм. Ее органы, как и наши, конкурируют друг с другом и сотрудничают друг с другом. Конкуренция — столь же необходимая часть общей деятельности, как и сотрудничество. Их можно регулировать — с большой осторожностью! — но не отменить.

Крупнейшее открытие XX века — это не телевидение и не радио, а признание всей сложности организма земли. Только те, кому известно об этом больше, чем остальным, способны понять, как мало об этом известно.

Самый большой невежда — тот человек, который спрашивает про растение или животное: «А какой от него прок?» Если механизм земли хорош в целом, значит, хороша и каждая его часть в отдельности, независимо от того, понимаем мы ее назначение или нет. Если биота на протяжении миллионов лет создала что-то такое, что мы любим, не понимая, то кто, кроме дурака, будет выбрасывать части, которые кажутся бесполезными? Сохранять каждый винтик, каждое колесико — вот первое правило тех, кто пробует разобраться в неведомой машине.

Понят ли нами первый принцип сохранения дикой природы — беречь каждую часть механизма земли? Нет. Ведь даже ученые признают далеко не все эти части.

В Западной Германии есть гора Шпессарт. На ее южном склоне растут великолепнейшие дубы. Когда американские краснодеревщики хотят сделать вещь высшего качества, они пользуются шпессартскими дубами. На северном склоне, который, казалось бы, больше подходит для дубов, растут довольно чахлые сосны. Почему? Оба склона входят в один государственный резерват, оба в течение двухсот лет оберегались с одинаковой тщательностью. Откуда же такая разница?

Разворошите листья под дубом, и вы увидите, что они начинают гнить, едва упав. А под соснами хвоя лежит толстым слоем и гнет много медленнее. Почему? А потому, что в средние века епископы, любители охоты, ревниво следили, чтобы никто не тревожил оленей на южном склоне. А на северном крестьяне пасли скот, рубили деревья, распахивали землю — то есть делали то же, что сейчас делаем мы с нашими лесными участками в Висконсине и Айове. Только после этого периода беспощадной эксплуатации северный склон засадили соснами. Но тем временем что-то произошло с микрофлорой и микрофауной почвы. Число видов резко сократилось — пищеварительный аппарат почвы утратил какие-то свои компоненты. Двухсот лет бережной охраны оказалось мало, чтобы вернуть потери. Понадобились современный микроскоп и сто лет научных исследований, чтобы обнаружить существование этих «винтиков и колесиков», от которых зависело, сохранится ли гармония между людьми и землей на Шпессарте.

Биотическое сообщество способно выжить, только если его внутренние процессы сбалансированы, иначе часть входящих в него видов исчезнет. Известно, что те или иные сообщества выживали в течение очень долгих сроков. Например, Висконсин в 1840 году имел практически ту же почву, фауну и флору, как и в конце ледникового периода, то есть 12 тысяч лет назад. Мы знаем это потому, что торфяники сохраняют кости тех животных и пыльцу тех растений. Последовательные слои торфа вели даже летопись погоды,



так как количество пыльцы в них различно. Например, обилие пыльцы амброзии около трехтысячного года до нашей эры указывает либо на долгие засухи, либо на вытаптывание прерии большими стадами бизонов, либо на сильные пожары. Эти повторяющиеся невзгоды не помешали выживанию 350 видов птиц, 90 видов млекопитающих, 150 видов рыб, 70 видов пресмыкающихся и тысяч видов насекомых и растений. Тот факт, что все они выживали в едином внутренне сбалансированном сообществе на протяжении стольких веков, свидетельствует о поразительной стабильности изначальной биоты. Наука еще не может объяснить механизма этой стабильности, но даже профан способен заметить два ее следствия: 1) Извлекаемые из коренных пород вещества, обеспечивающие плодородие, циркулировали по таким сложным цепям питания, что накапливались столь же быстро, если не быстрее, как уносились водой. 2) Это геологическое накопление плодородия почвы шло параллельно с ростом разнообразия флоры и фауны. Стабильность и разнообразие были, по-видимому, взаимозависимыми.

Охрана природы в США все еще, боюсь, сосредоточена только на достопримечательностях. Мы пока еще не научились мыслить категориями винтиков и колесиков. Взгляните на наш задний двор — на прерию Айовы и южного Висконсина. Что составляет главную сокровище прерии? Ее темная жирная почва — чернозем. Кто создал чернозем? Черную прерию создавали ее растения — сотни разных трав, злаков и кустов, ее грибы, насекомые и бактерии, ее млекопитающие и птицы. Все они составляли единое, полное жизни сообщество, скрепленное конкуренцией и сотрудничеством, — единую биоту. Эта биота, живя и умирая, горя и вырастая, охотясь и спасаясь, замерзая и оттаивая, за десять тысяч лет создала эту темную, напоенную кровью землю, которую мы называем прерией.

Наши деды не знали и не могли знать, как возникла прерия, которая теперь принадлежала им. Они истребили ее фауну, а флору отеснили в последние убежища на железнодорожных насыпях и в кюветах шоссе. Для наших инженеров эта флора — всего лишь сорняки и кустарник. Они истребляют ее бульдозерами и косилками. По законам преемственности растений, известным любому ботанику, сад прерии превращается в питомник пырея. Когда сад исчезает, департамент шоссе берет на себя обязанности специалистов по декоративным ландшафтам, чтобы они украсили царство пырея вязами, художественными купами сосен, японского барбариса и таволги. Члены комиссии по охране природы проносятся мимо на какую-нибудь важную конференцию и похваляют усердие, с каким создается придорожная красота.

В один прекрасный день флора прерии понадобится нам не

только для того, чтобы любоваться ею, но и чтобы восстановить истощенную земледелием почву. Наверное, тогда мы недосчитаемся многих видов. Намерения у нас благие, но мы все еще не осознаем важности винтиков и колесиков.

Да и наши попытки спасти винты и колеса побольше все еще крайне наивны. Капелька раскаяния в момент, когда биологический вид вот-вот исчезнет безвозвратно, — и мы уже упиваемся собственным благородством. Когда вид исчезает, мы льем слезы, и все начинается сначала.

Примером может служить истребление гризли в большинстве западных скотоводческих штатов. Да, у нас еще есть гризли в Йеллоустоне. Но вид тяжело страдает от завезенных в страну паразитов, у границ всех заповедников медведей поджидают охотничьи ружья, новые псевдоранчо и новые шоссе непрерывно урезают еще сохраняющийся ареал, и каждый год гризли становится все меньше на все меньшем числе хребтов во все меньшем числе штатов. Мы утешаем себя удобной, но ошибочной мыслью, будто достаточно одного музейного экспоната, и отмахиваемся от недвусмысленного указания истории, что спасти вид можно, только если удастся спасти его во всех местах.

Необходимо, чтобы мы — все мы — сознавали важность винтиков и колесиков, но иногда мне кажется, что есть нечто не менее необходимое. Журнал *Forest and Stream* однажды определил это в подзаголовке редакционной статьи как «утонченное восприятие даров природы». Продвинулись ли мы хоть сколько-нибудь в развитии такого восприятия?

На севере озерных штатов почти не осталось волков. Каждый штат выплачивает премию за убитого волка. Кроме того, он всегда может прибегнуть к услугам специалистов по борьбе с волками из Службы рыбы и дичи США. Однако и это учреждение, и комиссии охраны природы жалуются, что во многих местах оленей становится больше, чем допускают кормовые ресурсы. Лесничие жалуются на вред, причиняемый расплодившимися кроликами. Зачем же в таком случае и дальше проводить политику истребления волков? Мы обсуждаем эти вопросы с точки зрения экономик и биологии. Специалисты по млекопитающим утверждают, что волки осуществляют естественный контроль над ростом оленьих популяций. Охотники-спортсмены отвечают, что этот контроль они возьмут на себя. Еще десять лет таких дебатов, и уже не останется волков, чтобы о них спорить. Одна бумажная защита природы стимулирует другую.

Озерные штаты гордятся лесными посадками и успехами в

попытке восстановить былые северные леса. Но в этих посадках вы не найдете ни восточной туи, ни лиственниц. Почему? Восточная туя растет слишком медленно, ее объедают олени, ее глушит ольха. Мысль о северных лесах без восточной туи нисколько не огорчает наших лесничих. Другими словами, она изгнана как экономически невыгодная. По той же причине из будущих лесов юго-востока страны изгнан бук. К этим видам, сознательно исключенным из нашей будущей флоры, надо добавить те, которых мы лишаемся из-за завезенных болезней, — каштан, хурму, веймутову сосну. Так ли уж это экономически оправданно — рассматривать каждое растение отдельно, препятствовать или помогать ему только на основании его собственных качеств? Ну, а воздействие на животных, на почву, на здоровые леса как единого организма? «Утонченное восприятие даров природы» подсказывает, что экономическая сторона дела прямого отношения к этому не имеет.

Мы, наследники и преемники Поля Беньяна, так и не поняли, ни что река делает с нами, ни что мы делаем с рекой. Мы гоним плоты нашей политики весьма энергично, но без особой сноровки.

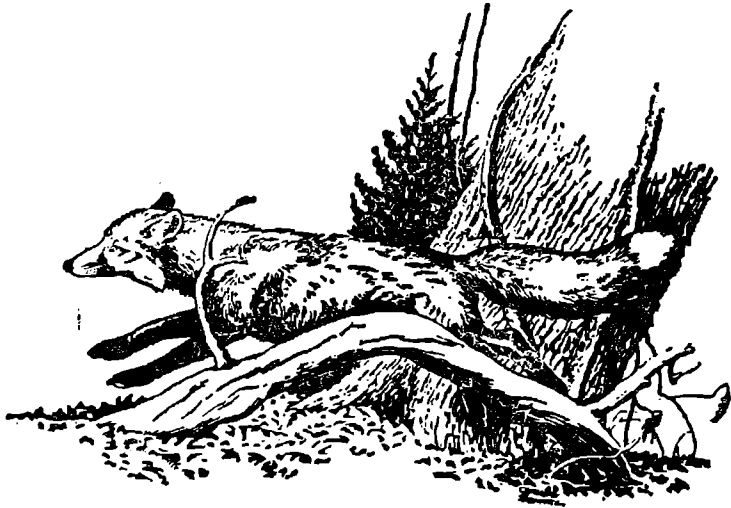
Биотический поток мы изменили радикально — иного выхода у нас не было. Цепи питания начинаются теперь с кукурузы и люцерны, а не с дубов и бородача, продолжаются коровами, свиньями и домашней птицей, а не вапити, оленями и рябчиками и ведут к фермерам, школьникам и студентам, а не к индейцам. Течение нынешнего биотического потока очень сильно — это вы можете определить по телефонным книгам или по спискам государственных учреждений. Оно, вероятно, гораздо сильнее, чем в добеньяновские времена, но, как ни странно, наука даже не пыталась его измерить.

Домашние животные и растения как звенья новой цепи питания очень хрупки: их существование поддерживается искусственно благодаря труду фермеров при содействии тракторов и подстрекательстве прежде невиданного зверя — ученого агронома. Полю Беньяну гнал плоты по собственному разумению, а теперь на берегу стоит «профессор» и дает бесплатные наставления.

Каждая замена дикого животного или растения на домашнее, естественного водного потока на искусственный сопровождается соответствующими изменениями во всей циркуляционной системе земли. Мы не понимаем и не предвидим этих изменений, а замечаем их, только если последствия оказываются явно вредными. Президент ли переделывает Флориду ради судоходного канала, фермер ли Джонс переделывает висконсинский луг под пастбище для

коров — мы слишком заняты паладками и подгопками, чтобы задумываться о конечных результатах. И если столько наладок и подгопок проходят безболезненно, это свидетельствует лишь о юности и эластичности организма земли.

За экологическое образование приходится, в частности, расплачиваться тем, что ты существуешь один в израненном мире. Непосвященные просто не в состоянии заметить всего вреда, который причиняется земле. А экологу остается либо замкнуться в



своей скорлупе и внушать себе, будто последствия научных потуг его не касаются, либо ощущать себя врачом, обнаружившим симптом смертельного недуга у общества, которое убеждено, что оно здорово, и ничего не желает слушать.

Власти штата объявляют, что необходимо бороться с разливами, а потому речка на нашем дугу подлежит спрямлению. Закончив свою работу, инженер объясняет нам, что наша речка способна теперь унести гораздо больше полои воды. Однако мы лишились старых ив, на которых в зимние ночи ухала сова и в тени которых в полуденный зной коровы лениво отгоняли мух. Мы лишились крохотного болотца, где цвели наши горечавки.

Гидрологи доказали, что петляние реки необходимо для правильности гидрологических режимов. Пойма реки принадлежит ей. Эколог ясно видит, что по тем же причинам не следовало бы столь усердно спрямлять русло Круговой реки.

Теперь приложим к новому порядку вещей два критерия:

1) Поддерживает ли он плодородие? 2) Поддерживает ли он разнообразие флоры и фауны? Первым стадиям эксплуатации почвы сопутствует взрыв растительной и животной жизни. Богатые урожаи, за которые первопоселенцы благодарно благодарили бога, — это исторический факт, но параллельно происходил взрыв и среди диких растений и животных. К местной флоре добавился десяток кормовых растений, почва оставалась жирной, а лоскуты полей и пастбищ внесли в ландшафт новое разнообразие. Оно-то отчасти и объясняло изобилие диких животных, о котором сообщали первопоселенцы.



Подобный усиленный обмен веществ весьма характерен для новоосвоенных земель. Он может отражать нормальную циркуляцию, а может и знаменовать сгорание запасов плодородия — то есть биотическую лихорадку. Биоте градусника не поставишь, и отличить жар от нормальной температуры у нее можно только задним числом, по воздействию на почву. Каково же было это воздействие? Ответ написан оврагами на тысячах полей. Урожай на акр остается более или менее неизменным. Гигантские технические улучшения в сельском хозяйстве только-только компенсируют оскудение почвы. В некоторых районах, вроде Пыльной Чаши, биотический поток уже безнадежно обмелел, и наследники Поля Беньяна перебрались в Калифорнию растить гроздь гнева.

Что касается разнообразия, то остатки нашей исконной фауны сохраняются только потому, что у сельского хозяйства не дошли до них руки. Наш сельскохозяйственный идеал — сплошное земледелие. Сплошное земледелие подразумевает цепь питания, под-

чиненную только экономической прибыли и очищенную от всех непосредственно не необходимых звеньев — своего рода Рах Germanica* и в сельском хозяйстве. Разнообразии, наоборот, подразумевает цепь питания, служащую установлению гармонии между диким и домашним в общих интересах стабильности, продуктивности и красоты.

Бесспорно, сплошное земледелие стремится восстанавливать почву, но оно использует для этого все только импортированное — и растения, и животных, и удобрения. Исконные флора и фауна, некогда создавшие эту почву, ей не требуются. Можно ли синтезировать стабильность из импортированных растений и животных? Будет ли достаточно плодородия, доставляемого в мешках? Вот в чем вопрос.

А ответа не знает никто. В пользу сплошного земледелия свидетельствует опыт северо-восточной Европы, где, несмотря на полную переделку ландшафта, все-таки сохранилась в определенной степени биотическая стабильность (если не считать людей).

Против него свидетельствуют все другие земли, где его испробовали, включая и нашу собственную, а также безмолвные показания эволюции, в которой разнообразие и стабильность сплетены так тесно, что кажутся двумя названиями одного явления.

У меня был сеттер по имени Гас. Когда Гас не мог отыскать фазана, он вдруг проникался страстью к каролинским погоньям и луговым трупиалам. Притворный энтузиазм по поводу неудовлетворительной замены маскировал тот факт, что он не сумел найти настоящую дичь, и смягчал горечь его разочарования.

Мы, сторонники охраны природы, тоже такие. Еще при жизни прошлого поколения мы принялись убеждать американского землевладельца, что необходимо бороться с пожарами, сажать леса, беречь дикую природу. Он не очень к нам прислушивался. Частных землевладельцев не интересуют правильное обращение с лесом и пастбищами, сохранение дичи и диких цветов, и мало кто из них добровольно принимает меры по борьбе с загрязнением окружающей среды или с эрозией. Во многих случаях с частной землей теперь обращаются даже хуже. Если не верите, поглядите, как горят скирды соломы в канадских прериях, как плодородная почва стекает в Рио-Гранде, как овраги грызут склоны холмов по берегам Пелузы, на плато Озарк, на водоразделах южной Айовы и западного Висконсина.

* Германский мир (лат.). Имеется в виду стремление немецкого фашизма полностью подчинить мир и установить в нем единый порядок. — *Прим. перев.*

Чтобы смягчить горечь разочарования, мы отыскивали своего лугового трупяла. Не знаю, кто из сеттеров первым уловил его запах. Зато я знаю, что все сеттеры на лугу принялись с энтузиазмом делать стойки. И я тоже. Трупялом явилась следующая идея: раз частный землевладелец не желает принимать никаких мер, давайте создадим бюро, которое будет охранять природу за него.

Как и трупял, эта замена имеет свои положительные стороны. Она приятно пахнет, словно суля успех. И скудная земля, на приобретение которой у бюро хватает средств, от нее безусловно выигрывает. Беда лишь в том, что эта замена никак не препятствует хорошей частной земле превращаться в скудную общественную землю. Смягчение горького, но справедливого разочарования таит в себе опасность: в результате мы забываем, что фазана-то мы так и не нашли.

А трупял, боюсь, не станет напоминать нам об этом. Слишком уж льстит ему вдруг обретенная значимость.

Погоня за прибылью губила землю с такой энергией и целеустремленностью, что невольно начинаешь подумывать, нельзя ли использовать ее для восстановления земли. Я склонен считать, что мы преувеличиваем ее вездесущность. Прибыльно ли строить себе красивый дом? Прибыльно ли давать образование своим детям? Нет, прибыль из этого извлекается редко, однако мы делаем и то и другое. Собственно говоря, тут речь идет об этических и эстетических предпосылках, скрытых под экономической системой. И экономические силы имеют тенденцию приводить в соответствие с собой малейшие частности социальной организации.

Но пока еще не существует никаких этических и эстетических предпосылок, касающихся земли, на которой предстоит жить нашим детям. Наши дети — это наша подпись в свитке истории, наша земля — это просто место, где наживались наши деньги. Пока еще изъеденная оврагами ферма, погубленный лес или загрязненная речка не позорят их владельца в глазах общества, если дохода от них хватает, чтобы послать детей в колледж. А недуги земли пусть исцеляет правительство.

Вот тут, по-моему, и кроется суть проблемы. Пропаганда сохранения природы должна создать этическую подоплеку для экономики сельского хозяйства, а также всеобщее стремление понять механизмы жизни земли. Вот тогда сохранение дикой природы станет само собой разумеющимся.

Естественная история

Как-то вечером в субботу, не так уж давно, два фермера средних лет поставили будильник на предрассветный час воскресенья — как выяснилось, ветреного и снежного. Кончив доить коров, они вскочили в «пикап» и помчались в песчаные графства центрального Висконсина — область, где произрастают дикие кормовые травы, лиственницы и налоговые уведомления. Когда они вернулись вечером, кузов «пикапа» был полон молоденькими лиственницами, а сердца фермеров — юношеским задором. Последнее деревце было посажено в ближнем болотце уже при свете фонаря, а коровы ждали недоенные.

В Висконсине сенсационное сообщение «человек кусает собаку» покажется куда как пресным в сравнении с известием, что «фермер сажает лиственницу». Фермеры корчевали, выжигали, засушивали и рубили лиственницы начиная с 1840 года. В местах, где живут наши фермеры, лиственницы уничтожены полностью. Так почему же им вздумалось вернуть это дерево на свое болото? А вот почему: они надеются, что в лиственничных посадках им удастся после двадцатилетнего перерыва восстановить сфагновый мох, а затем и венерины башмачки, и непентсы, и другие почти исчезнувшие исконные растения висконсинских трясиц.

Никакое бюро не обещало этим фермерам премию за столь донкихотское предприятие. И разумеется, расчета на прибыль у них тоже не было никакого. Как же истолковать их поступок? Я называю его Бунтом — бунтом против скучного, чисто экономического отношения к земле. Из-за того что мы вынуждены подчинять себе землю, чтобы существовать на ней, нам начинает казаться, будто лучшая ферма — всегда наиболее «одомашненная». А эти два фермера на опыте убедились, что совершенно «одомашненная» ферма не только плохо кормит своего владельца, но и обрекает его на однообразную рутину. Они заразились идеей, что взращивать дикие растения наряду с культурными — это удовольствие. Они намерены отвести уголок болота под местные цветы. Быть может, они хотят для своей земли того же, чего мы все желаем своим детям, — не просто возможности зарабатывать себе на жизнь, но, кроме того, и возможности выражать и развивать разнообразные природные способности, как полезные, так и просто украшающие жизнь. А что лучше выражает землю, как не ее исконные растения?

Я говорю здесь о радости, которую может дать дикая природа, об изучении естественной истории, как о сочетании деятельного отдыха с наукой.

История ничего не сделала, чтобы облегчить мою задачу. Нам, натуралистам, есть чего стыдиться. Было время, когда господа и дамы прогуливались на лоне природы не столько для того, чтобы узнавать, как создан мир, сколько для того, чтобы собирать материал для салонных разговоров. Это была эпоха орнитологии, состоящей из певчих птичек, ботаники, изложенной скверными виршами, слащавого аханья «до чего же прекрасна природа!». Но если вы заглянете в дневники нынешних любителей орнитологии и ботаники, то убедитесь, что ими руководят иные побуждения. Однако это вряд ли можно считать заслугой нашей системы образования.

Я знаком с химиком-практиком, который посвящает свой досуг воссозданию истории странствующего голубя и его трагического исчезновения из списков нашей фауны. Странствующие голуби вымерли еще до его рождения, но он знает о них гораздо больше, чем кто-либо в мире и прежде и теперь. Как он раскопал столько сведений? Прогуглив все газеты, когда-либо выходившие в нашем штате, а также множество дневников, писем и книг тех лет. Думаю, в поисках упоминаний о голубях он прочел не менее ста тысяч документов. Этот колоссальный труд, который убил бы всякого, кто взялся бы за него по обязанности, ему приносит упоенную радость охотника, рыскающего по холмам в поисках почти исчезнувших оленей, или археолога, перекапывающего весь Египет в поисках скарабея. А ведь тут одного копания мало. Когда скарабей найден, требуется величайшее умение, чтобы правильно его истолковать, — умение, которое нельзя почерпнуть у других, а можно только развить самому в процессе копания. Этот человек обрел приключения, исследования, науку и азарт охоты на задворках современной истории, где миллионы людей калибром поменьше не находят ничего, кроме скуки.

Еще одно исследование, проводившееся на заднем дворе в буквальном смысле слова, — это изучение певчей овсянки, которым занималась в Огайо одна домашняя хозяйка. Певчая овсянка, обыкновенная птичка, была научно описана лет сто назад, снабжена ярлычком и забыта. Любительница из Огайо полагала, что сведения о птицах, как и о людях, отнюдь не исчерпываются именем, полом и одеждой. Она начала отлавливать певчих овсянок в своем саду и метить их разноцветными целлулоидными кольцами. Таким образом она получила возможность различать их индивидуально, наблюдать и регистрировать их кочевки, поиски корма, драки, песни, ухаживание, гнездование и гибель — короче говоря, она получила возможность расшифровать внутренний механизм, управляющий сообществом овсянок. Через десять лет она знала об обществе овсянок, их политике, экономике и психологии больше, чем кто-либо когда-либо знал об одной какой-то птице. Наука



протоптала тропу к ее порогу. Орнитологи всех стран обращаются к ней за советами.

Эти два любителя обрели славу, но они о ней не думали и не искали ее. Слава пришла сама собой и уже потом. Однако я говорю не о славе. Они обрели внутреннее удовлетворение, которое важнее славы, и такое же удовлетворение находят в своих занятиях сотни других любителей. А потому я задаю вопрос: что делает наша система образования, чтобы поощрять самостоятельные поиски в области естествознания? Заглянем в типичную аудиторию на типичной кафедре зоологии. Студенты зубрят названия бугорков на костях кошки. Разумеется, изучать кости необходимо, иначе мы не смогли бы разобраться в эволюционных процессах возникнове-

ния животных. Однако зачем запоминать наизусть названия бургорков? Нам ответят, что это — часть биологической науки. Но неужели понятие о живом животном и его месте под солнцем менее важно? К несчастью, современная система зоологического образования практически игнорирует живых животных. В моем университете, например, нет ни курса орнитологии, ни курса маммологии.

С ботаникой дело обстоит примерно так же, хотя отсутствие интереса к живой флоре, пожалуй, выражено не столь ярко. Причина отказа от полевых занятий уходит корнями в прошлое. Лабораторная биология возникла в те времена, когда любительская естественная история сводилась к салонной болтовне, а профессиональная исчерпывалась определением видов и накоплением фактов о составе пищи без какого-либо их истолкования. Короче говоря, появившиеся тогда безусловно необходимые лабораторные методики вступили в соперничество с устаревшими методиками полевых исследований. Естественно, что на лабораторную биологию вскоре начали смотреть, как на высшую форму науки, и она постепенно вытеснила естественную историю из системы образования.

И следствием этой абсолютно логической конкуренции стал нынешний студенческий марафон по запоминанию топографии костей. Конечно, у него есть и другие оправдания. Он нужен студентам-медикам, он нужен преподавателям зоологии. Но я утверждаю, что обычному человеку гораздо нужнее понимание живого мира.

Тем временем полевые исследования обрели методики и идеи, в научном отношении не уступающие лабораторным. Любитель-натуралист уже не ограничивается приятными прогулками по полям и лесам, результаты которых исчерпывались составлением списка местных видов, миграционных дат и любопытных редкостей. Кольцевание, мечение перьев, учет численности, экспериментальное воздействие на поведение и среду обитания — это методики, доступные всем, и методики вполне научные. Если у любителя хватит воображения и настойчивости, он может выбирать и разрешать еще никем не затронутые актуальные научные проблемы естественной истории.

В настоящее время лабораторные и полевые исследования не соперничают, а дополняют друг друга. Однако в учебных программах это новое положение еще не отразилось. Чтобы расширить программу, нужны деньги, а потому студент, интересующийся естественной историей, не находит поддержки в своем университете. Вместо того чтобы учиться понимать и ценить родную природу, он учится кромсать кошек. Пусть он учится и тому и другому, но если необходимо выбирать, лучше выбрать первое.



Чтобы яснее представить себе односторонность и бесплодность нынешнего биологического образования, как средства воспитания гражданственности, отправимся за город с каким-нибудь типичным способным студентом-биологом и порасспрашиваем его. Несомненно, он знает, как растут растения и из чего состоят кошки, но проверим, понимает ли он, из чего состоит земля.

Мы едем по проселку на севере Миссури. Вот ферма. Поглядите на деревья во дворе, на почву в полях и скажите, обосновался ли первый поселенец в прерии или расчищал лес. Ел ли он в День Благодарения степного тетерева или дикую индейку? Какие растения росли здесь прежде и не растут теперь? Почему они исчезли? Какое отношение имеют растения прерии к урожайности кукурузы на этой почве? Почему почва здесь ныне подвергается эрозии, а тогда не подвергалась?

Теперь предположим, что мы едем по Озарку. Вот заброшенное поле. Амброзия на нем редкая и чахлая. Можем ли мы, глядя на нее, сказать, почему бывший владелец больше не смог платить по закладной? Давно ли это произошло? Стоит ли поискать на

этом поле перепелов? Имеет ли чахлая амброзия какое-нибудь отношение к истории людей, погребенных вон на том кладбище? Если бы вся амброзия на этом водоразделе была чахлой, какой вывод могли бы мы сделать относительно будущих разливов этой реки? И о будущем форели или окуня?

Многие студенты сочли бы такие вопросы идиотскими, и были бы неправы. Всякий натуралист-любитель с зорким взглядом мог бы найти вероятный ответ на любой из них и извлечь из этого немало удовольствия. А вы, кроме того, убедились бы, что в современной естественной истории определение растений и животных, а также изучение их привычек и поведения играет второстепенную роль, главным же стали их отношения между собой и их отношения с почвой и водой, которые их взрастили, их взаимоотношения с людьми, которые поют о «родной земле», но ничего или почти ничего не знают о ее внутренних механизмах. Наука об этих взаимоотношениях и взаимосвязях называется экологией, но дело не в названии, а в том, знает ли образованный человек, что он только винтик в экологическом механизме? Что, если он будет работать в лад с этим механизмом, его духовное богатство и материальное благополучие могут возрастать до бесконечности, но что в противном случае этот механизм в конце концов сотрет его в порошок? Если образование не объясняет нам всего этого, к чему тогда образование?

Мы никогда не обречем полной гармонии с землей, как не обречем абсолютной справедливости или абсолютной свободы. И тут важно не достижение, но стремление к нему. На быстрое или полное увенчание усилий, которое мы называем успехом, можно рассчитывать только в тривиальных предприятиях.

Говоря о стремлении, мы с самого начала признаем, что потребность должна возникать изнутри. Никакое стремление к идеалу никогда не прививалось извне целиком.

Задача, следовательно, заключается в том, чтобы возбудить это стремление к гармонии у людей, большинство которых вообще позабыло о существовании земли, поскольку их образование и их культура стали почти синонимами безземельности. Это — задача «воспитания уважения к природе».

Дикая природа *в американской культуре*

Культуры первобытных народов, как правило, опирались на дикую природу. Например, для индейцев прерий бизон был не просто пищей, но и в значительной степени определял характер их жилищ, одежды, языка, искусства и верований.

У цивилизованных народов культура меняет былую основу, но все же сохраняет часть своих диких корней. И здесь я рассмотрю, чем ценны эти корни.

Никто не может измерить или взвесить культуру, и я не стану тратить время на подобные попытки. Достаточно сказать, что те развлечения, обычаи и действия, которые дают человеку возможность соприкоснуться с миром диких животных, обладают культурной ценностью. По моему мнению, ценность эта складывается из трех моментов.

Во-первых, ценно все, что напоминает нам о нашем национальном наследии и происхождении, то есть стимулирует ощущение истории. Подобное ощущение можно назвать национализмом в лучшем смысле этого слова. Этот момент, за неимением другого короткого названия, я здесь обозначу как «бревенчатый». Например, мальчишка изготовил себе шапку из енотовой шкуры и отправился играть в Дэниела Буна среди ивняка за железнодорожными путями. Он воссоздает американскую историю. И это соприкосновение с былой культурой готовит его ко встрече с настоящим. Или сынишка фермера является в школу, благоухая ондатрой: до завтрака он проверял свои ловушки. Он воссоздает романтику пушного промысла. Онтогенез повторяет филогенез не только в индивиде, но и в обществе.

Во-вторых, ценно все, что напоминает нам о нашей зависимости от цепи питания почва — растение — животное — человек и об основах организации биоты. Цивилизация настолько замусорила первозданное взаимоотношение человек — земля всякими приспособлениями и посредниками, что оно утрачивает четкость. Мы воображаем, будто нас всем обеспечивает промышленность, забывая о том, чем обеспечивается промышленность. Было время, когда образование приближало к почве, а не удаляло от нее. Детский стишок, герой которого несет домой кроличью шкурку, чтобы завернуть в нее птенчика, — это одно из многих сохранившихся в фольклоре напоминаний о том, что мужчина некогда охотился, чтобы кормить и одевать свою семью.

В-третьих, ценно все, что приводит в действие этические тормоза, которые в совокупности называются «честной игрой». Наши орудия истребления диких животных приближаются к совершенству много быстрее, чем мы сами, и «честная игра» — это добровольное самоограничение в использовании современного арсенала. Суть его в том, чтобы увеличить в спортивной охоте роль сноровки и уменьшить роль технических приспособлений.

Особое достоинство охотничьей этики заключается в том, что у охотника, как правило, нет зрителей, которые рукоплескали бы его поведению или осуждали бы его. Каковы бы ни были его по-

ступки, они диктуются совестью, а не потребностью показать себя в выгодном свете. Значение этого факта трудно переоценить.

Добровольное подчинение этическому кодексу укрепляет самоуважение охотника-спортсмена, но не следует забывать, что, добровольно пренебрегая этим кодексом, он унижает и развращает себя. Например, общее правило всех кодексов спортивной охоты требует не убивать зря. Тем не менее висконсинские охотники на оленей обязательно убьют и бросят в лесу по меньшей мере одну самку, олененка или годовика на каждых двух самцов, отстрел которых разрешен. Другими словами, примерно половина охотников палит в любого оленя, прежде чем будет выслежена законная добыча. Незаконная же добыча остается там, где упадет. Такая охота на оленей не только не имеет никакой социальной ценности, но служит репетицией этической безнравственности при любых других обстоятельствах.

Таким образом, «бревенчатый» момент и момент «человек — земля» имеют либо позитивную, либо нулевую ценность, но этический момент, кроме того, может быть и негативным.

Вот, грубо говоря, три разновидности питания для диких корней нашей культуры. Однако отсюда не следует, что культура получает это питание. Извлечение ценностей никогда не бывает механическим: только здоровая культура способна принимать питание и расти. Питают ли культуру наши современные формы развлечений на лоне природы?

Период первооселенцев породил две идеи, которые составляют суть «бревенчатого» момента в этих развлечениях. Во-первых, «ходи налегке», и, во-вторых, «одна пуля на одного оленя». Первооселенцы шли на охоту налегке по необходимости. Они стреляли экономно и метко, потому что у них не было ни транспорта, ни денег, ни оружия, необходимых для скорострельной тактики. Таким образом, при их зарождении обе эти идеи были нам навязаны, и мы только превратили необходимость в добродетель.

Однако позже, эволюционируя, они стали принципами «честной игры», добровольными ограничениями спортивной охоты. На них опирается чисто американская традиция закалки, знания леса, меткости и умения полагаться только на себя. Это не абстрактные представления, хотя они и не подразумевают конкретных действий или предметов. Теодор Рузвельт был истинным охотником-спортсменом не потому, что украсил свой кабинет многочисленными трофеями, но потому, что сумел выразить эту американскую традицию словами, понятными каждому школьнику. Более тонкое и точное ее выражение можно найти в ранних произведениях Стюарта Эдварда Уайта. Можно даже сказать, что подобные люди создают



культурные ценности тем, что осознают их и открывают пути для их роста.

Затем явился торговец охотничье-спортивными товарами. Он обвесил американского охотника и туриста всевозможными приспособлениями, которые якобы дополняют закалку, знание леса, меткость и умение полагаться только на себя, в действительности же, как правило, подменяют их. Приспособления оттягивают карманы, они болтаются на шее и на поясе. Избыток их заполняет кузов и багажник машины, а затем и прицеп. Каждый предмет туристской экипировки становится легче, а часто и лучше, но общий их вес тянет уже не на фунты, а на центнеры. Торговля этими приспособлениями приносит астрономические суммы, и их вполне серьезно считают выражением «экономической ценности дикой природы». Но как быть с культурными ценностями?

К чему это приводит, показывает, например, охотник на уток, который сидит в металлической лодке в окружении подсадных уток фабричной выделки. Подвесной мотор доставил его к месту засады без малейших физических усилий с его стороны. Под рукой у него консервированное тепло, чтобы согреться, если вдруг подует хо-

лодный ветер. Он взывает к пролетающим стаям с помощью фабричного манка, издавая, как он надеется, самые обольстительные звуки: он отработывал их дома при помощи проигрывателя и пластинки. Подсадные утки вопреки манку делают свое дело, и стая описывает круг над болотом. Стрелять нужно прежде, чем она пойдет на второй круг: болото щетинится ружьями других точно так же экипированных охотников. Как бы они не выстрелили первыми! Он стреляет с расстояния в 70 ярдов, ибо его оптический прицел настроен на бесконечность, а реклама заверила его, что патроны «суперзет», особенно если их не жалеть, очень дальнобойны. Стая рассыпается во все стороны, пара подранков кое-как улетает, чтобы умереть в другом месте. Приобщается ли этот охотник к культурным ценностям? Или просто кормит норок? Сосед открывает огонь с 75 ярдов. Чего вы хотите? Иначе и вообще ни разу не выстрелишь! Такова утиная охота последнего образца. Она типична для всех болот, принадлежат ли они штату или охотничьему клубу. Где же идея «ходи налегке»? Традиция одной пули?

Ответить на это непросто. Рузвельт не брезговал современными ружьями. Уайт пользовался алюминиевым котелком, шелковой палаткой, пищевыми концентратами. Но каким-то образом они не злоупотребляли этими приспособлениями, не становились их рабами.

Не берусь сказать, где начинается злоупотребление и где проходит граница между полезными и вредными приспособлениями. Однако ясно, что воздействие приспособлений на культуру тесно связано с их происхождением. Самодельные приспособления для охоты и туризма нередко привносят новое очарование во взаимоотношения человека с землей, а не губят их. Тот, кто ловит форель на мушку собственного изготовления, торжествует вдвойне. Я сам пользуюсь многими фабричными приспособлениями. И все-таки существует предел, за которым купленные за деньги приспособления для спортивной охоты и туризма губят их культурную ценность.

Не все виды спортивной охоты выродились до такой степени, как утиная. Пока еще существуют защитники американской традиции. Быть может, возвращение к луку и стрелам и возрождение соколиной охоты знаменуют нарастающий протест. Однако господствует тенденция ко все большей механизации с соответствующим снижением культурных моментов, особенно «бревенчатого», а также этических тормозов.

По-моему, американский охотник-спортсмен растерян. Он не понимает, что с ним происходит. Если для промышленности полезно, что ее приспособления становятся «больше и лучше», то почему же тот же принцип неприменим к лесу и болоту? Ему еще

не пришло в голову, что спортивная охота и туризм по самому своему духу атавистичны и требуют простоты, что их ценность — в контрасте с его обычным образом жизни и что механизация стирает контраст, ибо с ней в дикую природу вторгается промышленное производство.

У охотника-спортсмена нет руководителей, которые могли бы объяснить ему, что именно плохо и почему. Специальные журналы превратились в доску объявлений для фабрикантов всяческих приспособлений. Лесничие заняты тем, чтобы обеспечить охотников какой-нибудь дичью, и им некогда беспокоиться о культурной ценности охоты. Поскольку все знатоки, от Ксенофонта до Тедди Рузвельта, утверждали, что спортивная охота имеет духовную ценность, возникло твердое убеждение, будто иначе и быть не может.

Там, где порох не участвует, механизация сказывается по-разному. Современные полевые бинокли, фотоаппараты и алюминиевые кольца, безусловно, не разрушили культурной ценности орнитологии. Рыболовство, если не считать подвесных моторов и алюминиевых лодок, как будто затронуто механизацией гораздо меньше, чем охота. С другой стороны, автотранспорт практически погубил путешествия по необжитой глуши, потому что благодаря ему от этой глуши остались лишь жалкие крохи.

Старомодная лисья травля дает яркий пример лишь частичного и, может быть, безобидного вторжения механизации. Это один из чистейших видов спортивной охоты. «Бревенчатый» момент проявляется в ней с достаточной силой, а также и весь драматизм взаимоотношений человека с землей. По лислице никогда не стреляют — следовательно, присутствуют и этические тормоза. Но теперь мы следуем за сворой в «фордах»! Лай гончих сливается с воплями клаксонов! Однако вряд ли кто-нибудь изобретет механическую свору или привинтит оптический прицел к носу гончей. Маловероятно и обучение собак с помощью проигрывателя или других средств, экономящих время и труд. Мне кажется, с собаками у фабриканта механических приспособлений все-таки ничего не получится.

Однако было бы несправедливо приписывать все беды спортивной охоты изобретателям механических приспособлений для нее. Рекламные агентства изобретают идеи, а идеи редко бывают столь же честными, как предметы, хотя и не уступают им в бесполезности. Одна такая идея заслуживает особого упоминания — отдел «Куда поехать». Сведения о хороших местах для охоты и рыбной ловли — сугубо личная форма собственности, вроде спиннинга, собаки или ружья, то, что можно одолжить из любезности или подарить в знак дружбы. Но торговать ими на рекламных страницах, чтобы поднять тираж журнала, — это нечто совсем другое.

Предлагать же их всем и каждому в качестве бесплатной социальной «услуги» — это уж и вовсе ни в какие рамки не укладывается. Даже департаменты охраны природы сообщают теперь любому желающему, где клюет рыба и где рискнула опуститься утиная стая, чтобы поискать корм.

Такая организованная неразборчивость подменяет казенностью один из сугубо личных элементов спортивной охоты, рыболовства и туризма. Я не берусь проводить границу между полезным и вредным, но я убежден, что отдел «Куда поехать» лежит за пределами здравого смысла.

Если дичи или рыбы достаточно, этот отдел обеспечивает желаемый приток охотников или любителей рыбной ловли. Но если их мало, то в ход пускается более активная реклама. Например, рыболовная лотерея, когда несколько рыб с рыбозавода мечутся, и рыболов, поймавший выигрышный номер, получает приз. Этот странный гибрид научных методов с нравами бильярдной приводит к полному обезрыблению многих уже истощенных озер и наполняет гражданской гордостью сердца членов торговых палат многих маленьких городов.

И напрасно охотоведы считают, что все это их не касается. Промышленный инженер и коммивояжер принадлежат к одной компании. Они одного поля ягоды.

Охотоведы пытаются разводить промысловых зверей и птиц в природе, воздействуя на среду их обитания, и тем самым превратить охоту из свободной эксплуатации природы в упорядоченный отстрел и отлов излишков. Если они преуспеют, как это повлияет на культурные ценности? Исторически «бревенчатый» момент всегда был связан со свободной эксплуатацией природы. Охотников былого времени не манила упорядоченность сельского хозяйства, а уж упорядоченная охота была бы для них и вовсе неприемлема. Быть может, упрямое нежелание охотников-спортсменов подчиняться правилам, разрешающим отстрел строго определенного числа зверей или птиц, унаследовано ими с «бревенчатых» времен. Эти правила для них неприемлемы, так как их нельзя совместить с одним из компонентов «бревенчатой» традиции — свободной охотой.

Механизация не предлагает никакой культурной замены для «бревенчатых» ценностей, которые она уничтожает, — во всяком случае, я не вижу ничего, что можно было бы счесть такой заменой. Охрана диких животных и отстрел их избытка такую замену предлагает, и, на мой взгляд, не менее ценную — управление дикой природой. Возращение охотничьего урожая обладает той же ценностью, что и все виды земледелия, напоминая о взаимосвязи человек — земля. Присутствуют тут и этические тормоза:

контроль над дичью без участия хищников требует этической сдержанности высочайшего порядка. Таким образом, упорядоченная охота ослабляет «бревенчатый» момент, но усиливает остальные два.

Если рассматривать спортивную охоту, рыболовство и туризм как поле битвы между невероятно динамичным процессом механизации и абсолютно статичной традицией, то будущее культурных ценностей выглядит весьма мрачным. Но почему бы нашим представлениям о том, что хорошо и что дурно, не развиваться с той же стремительностью, с какой растет список механических приспособлений? Возможно, для спасения культурных ценностей необходимо перехватить инициативу. Я твердо убежден, что время для этого уже настало. Любители спортивной охоты могут сами определить облик грядущего.

Последнее десятилетие, например, открыло совершенно новую форму спортивной охоты, которая не губит дикую природу и ее обитателей, использует приспособления, не подчиняясь им, решает проблему браконьерства и заметно увеличивает число людей, которых без ущерба может обслужить данный участок. Для этой охоты не существует ни ограничения добычи, ни запретных сезонов. Она требует наставников, а не сторожей и подразумевает культурное воздействие высочайшего порядка. Я говорю об исследовании жизни дикой природы.

Начали его профессионалы. И наиболее сложные, трудоемкие проблемы должны, без сомнения, по-прежнему решаться профессионалами, однако остается еще множество проблем, которыми могут плодотворно заниматься любители всех категорий. В области механических изобретений любители подвизаются уже очень давно. В области биологии ценность любительских исследований только-только начинает осознаваться.

Так, Маргарет Морз Найс, любитель-орнитолог, изучала певчих овсянок у себя на заднем дворе. Она стала специалистом с мировым именем в вопросах поведения птиц и превзошла многих профессиональных исследователей и как практик, и как теоретик. Банкир Чарлз Л. Броули окольцовывал орлов ради развлечения. Он открыл прежде неизвестный факт: некоторые орлы гнездятся зимой на юге, а затем отправляются на каникулы в северные леса. Норман и Стюарт Криддлы, владельцы фермы в прериях Манитобы, стали признанными знатоками местной фауны и флоры, досконально изучив все их особенности и циклы. Эллиот С. Баркер, скотовод в горах штата Нью-Мексико, написал одну из двух лучших в мире книг о пумах. И не верьте, если вам скажут, что все они превратили развлечение в работу. Просто они поняли, что нет ничего интереснее, чем открывать и изучать неизвестное.

Орнитология, маммология и ботаника, какими их знают пока почти все любители,— это детские игрушки по сравнению с тем, что могли бы (и могут) предложить им эти области знаний. Отчасти это объясняется тем, что вся система биологического образования (включая и изучение дикой природы) нацелена на поддержание профессиональной монополии в научных исследованиях. Любителям предлагают только туристические круизы по давно освоенным маршрутам, игрушечные открытия, подтверждающие то, что давно известно специалистам. А молодежи надо объяснить, что на ее умственных верфях строятся корабли, которым открыты все моря.

По моему глубокому убеждению, всем тем, кто профессионально связан с управлением дикой природой, следует всячески содействовать любительским ее исследованиям. Это их важнейшая задача. Установив, как действует какая-то крохотная часть биоты, мы можем догадаться, как действует весь механизм. Выявлять этот скрытый смысл, критически оценивать его — вот охота будущего.

Итак, дикая природа некогда кормила нас и оформляла нашу культуру. Она все еще дарит нам удовольствие в часы досуга, но мы пытаемся пожинать плоды этого удовольствия с помощью современных машин и тем в значительной мере лишаем его ценности. Но если пожинать их с помощью современных интеллектуальных средств, они принесут не только радость, но и мудрость.

Оленья просека

Как-то под вечер в жаркий августовский день я сидел, ничего не делая, под вязом, и вдруг увидел, что в полумиле к востоку в просвете между кустами мелькнул олень. Через нашу ферму проходит оленья тропа, и в этом месте короткий ее участок виден со стороны дома.

И тут я осознал, что полчаса назад поставил свой стул как раз так, чтобы видеть тропу, и что это давняя моя привычка, хотя прежде я ее не замечал. Затем мне пришло в голову, что, срубив часть кустов, я мог бы открыть для обозрения более длинный участок тропы. К ночи просека была закончена, и до конца месяца я успел увидеть несколько оленей, которые иначе прошли бы незамеченными.

Эту оленью просеку я всегда показывал моим гостям, чтобы

проверить, какое впечатление она на них произведет. По большей части они тут же про нее забывали, но некоторые, как и я, при каждом удобном случае следили за ней. В результате я понял, что существуют четыре категории людей, вступающих в общение с дикой природой: охотники на оленей, охотники на уток, охотники на птиц и неохотники. Эти категории не имеют никакого отношения к полу, возрасту или снаряжению, но представляют четыре разные манеры смотреть. Охотник на оленей привычно наблюдает за ближайшими зарослями, охотник на уток наблюдает за горизонтом, охотник на птиц наблюдает за своей собакой, неохотник не наблюдает вообще.

Охотник на оленей садится так, чтобы можно было смотреть вперед, и спиной к чему-нибудь. Охотник на уток садится так, чтобы можно было смотреть вверх, и позади чего-нибудь. Неохотник садится так, чтобы ему было удобно сидеть. И никто из них не следит за собакой. А охотник на птиц следит только за собакой



и всегда знает, где она находится в каждую данную минуту, даже если ее не видит. Нос собаки — это глаза охотника на птиц. Многие охотники, отправляющиеся с дробовиком в лес после открытия сезона, так и не научились следить за собакой и истолковывать ее реакции на запахи.

Некоторые из людей, вступающих в общение с дикой природой, не поддаются ни под одну из этих категорий, что не мешает им быть вполне достойными людьми. Это орнитолог, который охотится с помощью ушей, а глазами пользуется, только чтобы проследить то, что обнаружили уши. Это ботаник, который охотится с помощью глаз, но на очень близких расстояниях. Он с поразительным умением отыскивает растения, но редко замечает птиц или зверей. Это лесовод, который видит только деревья и еще насекомых и грибы, если они опасны для деревьев, но больше ничего. И наконец, это любитель спортивной охоты, который видит только дичь, а все остальное считает ненужным и не заслуживающим ни малейшего интереса.

Существует еще один эфемерный способ, который нельзя связать полностью ни с одной из этих групп, — поиски следов, пьрев, нор и тех мест, где обитатели леса почевали, чесались, чистились, копали, кормились, дрались или хватали добычу. Все это на языке лесных следопытов носит общее название «чтение знаков». Такое умение крайне редко и как будто обратно пропорционально книжным знаниям.

Читать знаки животных можно и на растениях, но это искусство еще более редко и эфемерно. В качестве доказательства я сошлюсь на одного путешественника по Африке, который обнаружил царапины, оставленные львиными когтями на коре дерева в 20 футах над землей. По словам этого человека, лев точил когти об это дерево, когда оно было еще молодым.

Мастер на все руки в биологии, который зовется экологом, пытается быть ими всеми и делать все, что делают они. Незачем говорить, что это у него не получается.

Гусиная музыка

Несколько лет назад гольф в нашей стране считался светской забавой, развлечением для богатых бездельников, которое не заслуживает даже любопытства, не говоря уж о внимании серьезных людей. А сейчас десятки городов сооружают муниципальные поля

для гольфа, чтобы сделать эту игру доступной для самых скромных своих граждан.

Точно так же изменились взгляды и на другие спортивные развлечения на открытом воздухе: то, что пятьдесят лет назад считалось пустым легкомыслием, теперь превратилось в социальную потребность. Но, как ни странно, это изменение только-только начинает влиять на наше отношение к старейшим и наиболее распространенным из этих спортивных развлечений — к рыбной ловле и охоте.

Разумеется, мы смутно отдавали себе отчет в том, что усталому деловому человеку полезно погулять денек с ружьем. Мы понимали также, что уничтожение диких зверей и птиц лишает прогулки с ружьем всякого смысла. Но мы пока не научились ценить дикую природу как фактор социального благополучия. Одни утверждали, что дикую природу надо сохранить как источник мяса, другие — как источник денег, третьи, четвертые, пятые и так далее считали, что ее необходимо сохранять в интересах науки, воспитания молодежи, сельского хозяйства, искусства, здравоохранения и даже военной готовности. Но до сих пор мало кто ясно осознавал и высказывал всю истину целиком: что все это — лишь отдельные моменты более широкого социального явления, что дикая природа, подобно гольфу, служит интересам общества в целом.

Для тех же, чьи сердца бьются сильнее от свиста крыльев и криканья уток, дикая природа обретает особый смысл и важность. Это уже не благоприобретенный вкус: инстинкт, находящий радость в поисках и преследовании дичи, глубоко въелся в нервную ткань человечества. Гольф в конечном счете — всего лишь полезное физическое упражнение и средство социального общения, но любовь к охоте можно назвать почти физиологическим свойством человека. Человек может быть равнодушен к гольфу и все же оставаться человеком, но тот, кто не любит наблюдать, фотографировать, выслеживать птиц и зверей или еще как-либо брать над ними верх, вряд ли может считаться нормальным. Он сверхцивилизован, и лично я просто не знаю, как с ним общаться. Ребятишки не дрожат от восторга, увидев мяч для гольфа, но мне не хотелось бы иметь сына, который не замер бы, застав дыхание, при виде своего первого оленя. Следовательно, мы имеем тут дело с чем-то лежащим очень глубоко. Некоторые люди способны обходиться без возможности дать волю своему охотничьему инстинкту или сдерживать его, так же как, я полагаю, есть люди, способные жить без работы, игры, любви, дела или другого приложения своих сил и энергии. Но теперь мы считаем подобные лишения антисоциальными. Возможность свободно проявлять все нормальные инстинкты теперь причисляется к природным правам человека.

Те, кто уничтожает дикую природу, отторгают у нас одно из таких прав и делают это с таким тщанием, что поправить уже ничего нельзя. Когда последний необжитый уголок застраивается, еще можно убрать застройку и превратить его в место отдыха и развлечения, но когда погибает последняя антилопа, никакие комиссии, заботящиеся об отдыхе и развлечениях, не могут возместить эту потерю.

Если дикие птицы и звери представляют собой актив в жизни нашего общества, то насколько этот актив важен? Можно, конечно, сослаться на то, что некоторые из нас, страдающие наследственной охотничьей лихорадкой, неспособны без них получить от жизни полное удовлетворение, но это не критерий их сравнительной ценности, а в наши дни мы нередко вынуждены делать выбор между необходимым и необходимым. Короче говоря, чего стоит дикий гусь? У меня хранится билет на симфонический концерт. Он стоил дорого. Но доллары были истрачены не напрасно. И все-таки я отказался бы пойти на этот прекрасный концерт ради того, чтобы увидеть крупного гусака, который сегодня утром, на рассвете спустился к моим приманкам. Холодно было зверски, руки у меня заоченели, и я блаженно по нему промазал. Но какое это имеет значение! Я видел его, слышал, как ветер свистел в его крыльях, когда он с гоготом возник из серости западного неба, и я ощутил его с такой полнотой, что и сейчас еще испытываю восторг при одном воспоминании. Я убежден, что этот же гусак принес десятку других людей не меньше радости, чем симфонический концерт.

Из моих записей следует, что за эту осень я видел тысячу гусей. Каждый из них на протяжении своего эпического путешествия из арктической тундры до Мексиканского залива, вероятно, не один раз давал людям радость, эквивалентную той, которую может дать платное развлечение. Какая-нибудь стая, например, могла зачаровать компанию младшеклассников, и они помчались домой рассказывать, какое им выпало приключение. Другая, пролетая в темных ночных небесах, одарила гусиной музыкой целый город и пробудила кто знает какие мечты, воспоминания и надежды. При виде третьей фермер остановился на пашне, и мысли о дальних странах, путешествиях, людях скрасили бездумное однообразие его труда. Я убежден, что эти гуси выплачивают людям дивиденды прекрасных чувств. Стоимость в долларах — это только обменная стоимость, вроде продажной цены картины или гонорара за стихи. Но заменяет ли стоимость предмета самый предмет? Что, если больше не будет ни картин, ни стихов, ни гусиной музыки? Страшный вопрос, и все-таки на него необходимо ответить. В крайнем случае кто-то мог бы создать другую «Илиаду»

или написать еще один «Анжелюс»*, но кто может сотворить гуся?

Не кощунство ли взвешивать гусиную музыку и искусство на одних весах? Думаю, что нет: ведь истинный охотник — это не созидающий художник. Кто нацарапал первую картину на кости во французских пещерах? Охотник. Кто единственный в нашей современной жизни испытывает такой восторг при виде живой красоты, что готов терпеть голод, жажду и холод, лишь бы напиться ею свои глаза? Охотник. Кто создал великую охотничью поэму о дивности ветра, града и снега, звезд, молний и облаков, львов, ланей и диких коз, воронов, ястребов и орлов, а главное — восторженную хвалу лошади? Иов, один из самых страстных художников всех времен. Поэты поют, а охотники взбираются на горы, в сущности, по одной и той же причине — ради упоения красотой. Критики пишут, а охотники состязаются в ловкости со своей дичью, в сущности, по одной и той же причине — чтобы овладеть красотой. Различия сводятся главным образом к степени, к осознанности и к тому, что мы называем языком, — к этому лукавому арбитру, классифицирующему человеческую деятельность по родам. Значит, если мы способны жить без гусиной музыки, с тем же успехом мы можем покончить со звездами, закатами и «Илиадами». Но суть в том, что мы были бы глупцами, если бы покончили с ними.

Как воздействуют охота и рыбная ловля на характер в сравнении с другими видами спорта? Я уже говорил, что любовь к ним заложена очень глубоко, что речь тут идет не только о духе соревнования, но и об инстинкте. Сын Робинзона Крузо, никогда в жизни не видевший теннисной ракетки, прекрасно обошелся бы без нее, но он безусловно начал бы охотиться и ловить рыбу, учили его этому или нет. Однако это еще не доказывает, что одно полезнее другого. Что больше способствует закалке характера? Об этом можно спорить без конца, как спорили мы на школьных диспутах, кто учится лучше, мальчики или девочки. Я не берусь дать ответа. Но на две особенности охоты все-таки следует указать. Во-первых, этика честной игры не занесена ни в какие кодексы и каждый человек должен сам ее сформулировать и следовать ей, не имея другого судьи, кроме совести. Во-вторых, охота подразумевает тесное общение с собаками и лошадьми, а отсутствие этого общения составляет один из наиболее серьезных недостатков нашей бензинной цивилизации. Старинное присловье,

* Картина французского художника Жана Франсуа Милле (1814—1875). Сын крестьянина, Милле в «Анжелюсе» и ряде других полотен с глубоким сочувствием и реализмом рассказывал о нелегком крестьянском труде и стремился поэтически воплотить мысль о неразрывной связи человека и природы. — *Прим. перев.*

что человек, ничего не понимающий в собаках и лошадях, не может быть истинным джентльменом, несет в себе зерно истины. На американском Западе скверное обращение с лошадью по-прежнему влечет за собой всеобщий бойкот. Этот критерий проверки существовал в скотоводческих краях задолго до того, как были придуманы всяческие «характерологические тесты», и, наверное, переживет их.

Однако всегда бессмысленно доказывать, что одно хорошее лучше другого хорошего. А важно то, что от шести до восьми миллионов американцев любят охотиться и ловить рыбу, что охотничья лихорадка у них в крови и что любой побудительный мотив для общения с природой полезен для всего общества, а уничтожение побудительного мотива в данном случае наносит обществу ущерб. Следовательно, борьба за сохранение дикой природы является общественным делом.

И в заключение: я болен наследственной охотничьей лихорадкой, и у меня есть три сына. Еще совсем малышами они играли с моими подсадными утками и рыскали по пустырям с деревянными ружьями. Я надеюсь, что оставлю им в наследство крепкое здоровье, образование, а может быть, и некоторый материальный достаток. Но зачем все это будет нужно, если среди холмов не останется оленей, а в кустах — перепелов? Если в лугах не будут свистеть бекасы, на ночном болоте не будут попискивать свиязи и бормотать чирки, а когда утренняя звезда померкнет на востоке, в воздухе не просвистят быстрые крылья? Предрассветный ветер зашелестит в старых тополях, серый свет скользнет с холмов к реке, бесшумно бегущей между широких бурых отмелей, — но что, если больше не зазвучит гусиная музыка?

Часть IV

ВЫВОДЫ



РАЗВИТИЕ ЭТИКИ

Когда Одиссей богоравный вернулся с Троянской войны, он повесил на одной веревке десяток своих домашних рабынь, заподозрив, что в его отсутствие они позволяли себе лишнее.

Эта казнь не ставила никаких нравственных вопросов. Рабыни были собственностью своего хозяина. А тогда, как, впрочем, и теперь, собственностью распоряжались, сообразуясь с выгодой, а не с понятиями о дурном и хорошем.

В Греции времен Одиссея понятия о дурном и хорошем были развиты высоко — об этом свидетельствует хотя бы верность, которую жена хранила ему все долгие годы, прежде чем его черногрудые корабли направили свой бег по темно-пурпурным морям к родной Итаке. Этические понятия той эпохи включали жен, но еще не распространялись на двуногий скот. За три тысячи лет, протекавшие с тех пор, этические критерии распространились на многие области человеческого поведения, где прежде решающим фактором служила выгода.

Это расширение этики, которое до сих пор изучали только философы, на самом деле представляет собой один из процессов экологической эволюции. Развитие этики можно выразить не только через философские, но и через экологические понятия. Этика в экологическом смысле — это ограничение свободы действий в борьбе за существование. Этика в философском смысле — это различие общественного и антиобщественного поведения. И то и другое — лишь два определения одного явления. Возникло же оно из тенденции взаимозависимых индивидов или групп развивать формы сотрудничества.

Сложность механизмов сотрудничества возрастала с увеличением плотности населения и с развитием орудий. Например, в дни мастодонтов было легче распознать антиобщественное применение палок и камней, чем пуль и рекламных щитов в век моторов.

Первоначальная этика касалась отношений между индивидами; дальнейшие добавления связаны уже с взаимоотношениями

индивида и общества. Но этики, регулирующей взаимоотношения человека с землей, с животными и растениями, обитающими на ней, пока еще не существует. Земля, подобно рабыням Одиссея, все еще остается собственностью, и взаимоотношения с ней все еще остаются чисто потребительскими, подразумевающими только права без обязанностей.

Распространение этики на этот третий элемент в окружении человека является — если я правильно толкую все признаки — эволюционной возможностью и экологической необходимостью. Это третий этап непрерывного развития. Первые два уже осуществились. Отдельные мыслители со времен библейских пророков постоянно указывали, что опустошение земли не только вредно, но и дурно. Общество еще не приняло их точки зрения, но какой-то сдвиг в этом направлении уже есть, о чем, по моему мнению, свидетельствует нынешнее движение за охрану природы.

Этику можно считать руководством в экологических ситуациях, настолько новых, сложных и поздно обнаруженных, что разрешение их, наиболее выгодное для общества, не всегда понятно среднему индивиду. Индивид в подобных ситуациях руководствуется биологическими инстинктами. Возможно, что этика — это своего рода зарождающийся общественный инстинкт*.

ПОНЯТИЕ О СООБЩЕСТВЕ

Все сложившиеся до сих пор этические системы опираются на одну предпосылку — индивид является членом сообщества, состоящего из взаимосвязанных частей. Инстинкт побуждает его соперничать за место в обществе, но этика одновременно побуждает его к сотрудничеству (хотя бы для того, чтобы было из-за чего соперничать).

* Здесь и далее представление автора о философском смысле этики упрощено. Это не различие общественного и антиобщественного. Этика определяет место морали в системе других общественных отношений, структуру, происхождение и историческое развитие нравственности. Мораль, оставаясь классовой, формирует элементы общечеловеческой нравственности. Вопрос не в противоречии индивидуального общественному, а в преодолении этих противоречий. В полной мере это относится и к этике взаимоотношений природы и общества (см. предисловие). Следует также заметить, что автор в ряде случаев пользуется собственной терминологией. — *Прим. ред.*

Этика земли попросту расширяет пределы сообщества, включая в него почвы, воды, растения и животных, которые все вместе и объединяются словом «земля».

Звучит это так просто! Разве мы уже не поем о своей любви к земле свободных и родине доблестных и о своих обязательствах по отношению к ней? Петь-то мы поем, но что и кого мы, собственно, любим? Во всяком случае, не почву, которую мы равнодушно сбрасывали в реки. Во всяком случае, не воды, за которыми мы не признаем иного назначения, кроме как вертеть турбины, носить суда и служить канализационным стоком. Во всяком случае, не растения, которые мы, и глазом не моргнув, уничтожаем целыми сообществами. Во всяком случае, не животных, среди которых мы уже истребили многие самые крупные и красивые виды. Этика земли, разумеется, не может воспрепятствовать тому, чтобы мы воздействовали на эти «ресурсы», управляли и пользовались ими, но она по крайней мере утверждает их право на дальнейшее существование и — хотя бы кое-где — на дальнейшее существование в естественных условиях.

Короче говоря, этика земли меняет роль человека, превращая его из завоевателя сообщества, составляющего землю, в рядового и равноправного его члена. Это подразумевает уважение к остальным сочленам и уважение ко всему сообществу.

Человеческая история научила нас (так, во всяком случае, мне хотелось бы верить), что завоеватель неизбежно сам обрекает себя на поражение. Почему? Потому что его роль подразумевает, будто он святым духом знает, чем живо сообщество, кто и что требуется для того, чтобы оно было живо, а кого и чего не требуется. Но обязательно выясняется, что ничего он не знает, — вот почему его завоевания обречены с самого начала.

Такое положение существует и в биотическом сообществе. Патриарх Авраам точно знал, для чего существует земля — для того, чтобы источать мед и млеко в его, Авраама, уста. В настоящее время вера в такую предпосылку обратно пропорциональна образованности.

Обыватель в наши дни убежден, что наука знает, чем живо сообщество, ученый же не менее твердо убежден, что ему это неизвестно. Он отдает себе отчет в невероятной сложности механизма биоты, который, возможно, так никогда и не удастся понять во всех частностях.

Тот факт, что человек — всего лишь один из членов биотического сообщества, доказывается экологическим толкованием истории. Многие исторические события, до сих пор объяснявшиеся исключительно человеческой предприимчивостью, в действительности представляли собой биотическое взаимодействие людей и

земли. Особенности земли воздействовали на события с меньшей силой, чем особенности живших на ней людей.

Рассмотрим для примера заселение долины Миссисипи. После провозглашения независимости Соединенных Штатов контроль над ней оспаривали три группы — местные индейцы, французские и английские торговцы и американские поселенцы. Историки гадают, что произошло бы, если бы англичане в Детройте добавили гирь на индейскую чашу тех весьма чувствительных весов, на которых решались последствия заселения тростниковых земель Кентукки. Пора поразмыслить над тем обстоятельством, что тростник под объединенным воздействием скота, плуга, огня и топора первопоселенцев сменился бородачом. А что, если бы преемственность растений, заложенная в этой темной, напоенной кровью земле, дала нам под воздействием всех перечисленных сил какой-нибудь ни к чему не пригодный камыш, кустарник или сорняк? Удержались бы там Бун и Кентон? Хлынул бы поток поселенцев дальше, в Огайо, Индиану, Иллинойс и Миссури? Была бы куплена Луизиана? Возник бы союз штатов от океана до океана? Произошла бы война Севера с Югом?

Кентукки — всего лишь ремарка в драме истории. Нам обычно рассказывают о том, что пытались делать участвующие в ней люди, но редко сообщают, насколько их успех или неудача зависели от реакции данных почв на воздействие сил, характерных для данной формы их использования. В случае с Кентукки мы даже не знаем, откуда взялся бородач — был ли он местным растением или приплыл зайцем из Европы.

Теперь сравните судьбу тростниковых земель с тем, что произошло на юго-западе страны, где первопоселенцы были не менее мужественны, находчивы и упорны. Новые формы использования тамошних земель не принесли с собой ни бородача, ни других трав, способных выдержать бездумную и безжалостную эксплуатацию. Непрерывный и интенсивный выпас скота вызвал в этой области смену прежних трав, кустарников и других растений на все более и более бесполезные, так что возникло состояние неустойчивого равновесия. Каждое ухудшение растительного покрова несло с собой эрозию, каждое усиление эрозии влекло за собой новое ухудшение растительного покрова. В результате теперь происходит непрерывная деградация не только растений и почв, но и существующего на них сообщества животных. Первые поселенцы ничего подобного не предвидели — в болотах Нью-Мексико некоторые даже копали дренажные каналы, ускорившие этот процесс. Впрочем, он развивается столь незаметно, что мало кто из обитателей этой области осознает его. И разумеется, он не виден туристам, которые находят погубленный ландшафт красочным и живопис-

ным (да он и действительно таков, но мало напоминает тот, каким был в 1848 году).

Эту же область уже некогда «развивали» и совсем с другими результатами. Индейцы нуэбло заселили юго-запад в доколумбовы времена, но у них не было скота, выгаптывавшего пастбища. Их цивилизация погибла, однако не потому, что погибла их земля.

В Индии области, лишённые дерновинных трав, при заселении не истощались, по-видимому, благодаря очень простому средству: траву доставляли к коровам, а не наоборот. (Объясняется ли это мудрой предусмотрительностью или чистым везением? Не знаю.)

Короче говоря, изменения растительного покрова воздействовали на ход истории. Первопоселенцы просто выявляли — на радость или на беду, — какая преэссенция растений заложена в земле. Такая история пока не преподаётся. Но она будет преподаваться, когда понятие о земле как сообществе, наконец, по-настоящему войдет в нашу интеллектуальную жизнь.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОВЕСТЬ

Охрана природы — это состояние гармонии между людьми и землей. Несмотря на почти сто лет пропаганды, развитие этой охраны идет черепашным шагом и ограничивается главным образом благочестивыми вздохами на бумаге и красноречием на съездах и конференциях. Сейчас, на исходе сороковых годов, мы, сделав шаг вперед, все еще делаем два шага назад.

В качестве противовозда обычно рекомендуется «всемерно расширять экологическое просвещение». Спорить с этим не приходится, но достаточно ли только расширить его? Или в нем самом не хватает чего-то существенного?

Изложить вкратце суть нынешнего экологического просвещения непросто, но, насколько я понимаю, сводится она к следующему: выполняй требования закона, голосуй за подходящего кандидата, вступи в какое-нибудь общество и принимай необходимые и выгодные меры по охране природы на собственной земле, а остальное — дело правительства.

Не слишком ли легка такая панацея, чтобы принести сколько-нибудь заметную пользу? Она не определяет, что хорошо, а что дурно, не возлагает никаких обязательств, не требует жертв, не подразумевает никаких изменений в современном мировоззрении. Отношение к земле она рассматривает только с точки зрения про-

священной корысти. Много ли толку от такого просвещения? Возможно, ответом на этот вопрос отчасти может послужить следующий пример.

К 1930 году всем, кроме экологических слепцов, стало ясно, что на юго-западе Висконсина верхний слой почвы уносится в море. В 1933 году фермерам объявили, что если они на протяжении пяти лет будут следовать определенным правилам в использовании земли, общество для принятия восстановительных мер предоставит им бесплатно труд Гражданского корпуса по охране лесов и мелиорации, а также необходимые машины и материалы. Предложение это принималось повсеместно, но по истечении пятилетнего контракта правила почти всюду были забыты. Фермеры продолжали следовать только тем из них, которые приносили непосредственную и видимую выгоду.

Тогда возникла мысль, что, может быть, фермеры станут более внимательными, если сами составят правила. И в 1937 году висконсинское законодательное собрание приняло закон о сохранении почв. По сути, он говорил фермерам: «Мы, общество, обеспечим вам бесплатную техническую помощь и одолжим необходимые машины, если вы напишете собственные правила пользования землей. Каждое графство может написать собственные правила, и они обретут силу закона». Почти все графства тотчас организовались, чтобы принять предложенную помощь, но прошло десять лет, а ни одно графство еще не написало ни единого правила. Определенный прогресс заметен, скажем, в введении ленточного посева, восстановлении пастбищ, известковании почвы, но об огораживании лесов от скота и запрете распахивать крутые склоны и пасти там коров все еще нет и речи. Другими словами, фермеры приняли те восстановительные меры, которые в любом случае были им выгодны, и уклонились от тех, которые были выгодны всему обществу, а им самим непосредственной выгоды как будто не приносили.

В ответ на вопрос, почему не были написаны правила, вам отвечают, что общество еще не готово их поддерживать: сначала просвещение, а потом уже правила. Однако нынешнее просвещение не включает никаких обязательств по отношению к земле помимо и сверх тех, которые диктуются своекорыстными интересами. В конечном итоге просвещения у нас больше, чем в 1937 году, почвы и здоровых лесов меньше, а паводков ровно столько же.

Удивительно то, что существование обязательств помимо и сверх своекорыстных интересов вполне признается сельскими общинами, когда речь идет об улучшении дорог, школ, церковных зданий и бейсбольных команд. Однако никто не признает каких бы то ни было обязательств, когда речь идет о том, чтобы улучшить поведение падающей на землю воды или сохранить красоту и раз-

нообразии сельского ландшафта. Этика использования земли все еще управляется экономическими своекорыстными интересами — точно так же, как социальная этика сто лет назад.

Короче говоря, мы попросили фермера сделать для спасения его почвы то, что ему удобно, и он сделал только это и ничего больше. Фермер, который сводит на склонах 75% леса, пасет там коров и допускает, чтобы дождевая вода, камни и почвы сбрасывались оттуда в общую речку, остается (при условии, что в остальном он человек порядочный) уважаемым членом своей общины. Если он вносит известь в свои поля и применяет ленточный посев, он имеет право на все выгоды и привилегии, предоставляемые ему законом о сохранении почв. Закон этот — прекрасная машина, служащая обществу, но она чихает и кашляет на двух цилиндрах, потому что мы были слишком робки, слишком жаждали быстрого успеха и не рискнули объяснить фермеру всю полноту его обязательств. Обязательства обретают силу лишь в сочетании с совестью, и перед нами стоит задача сделать объектом общественной совести не только людей, но и землю.

Любое заметное изменение в этике всегда сопровождается изменениями в нашем мышлении, привязанностях, убеждениях и чувстве долга. Идея сохранения природы еще не кобнулася этих основ нашего поведения — доказательством служит тот факт, что она пока не нашла отражения ни в философии, ни в религии. Стремясь облегчить сохранение природы, мы свели самую идею к банальности.

СУРРОГАТЫ ЭТИКИ ПРИРОДЫ

Когда логика истории жаждет хлеба, а мы протягиваем ей камень, нас мучит потребность объяснить, что этот камень ужасно похож на хлеб. Ниже я опишу несколько камней, подменяющих этику природы.

Системе охраны природы, опирающейся только на экономические побуждения, присуща одна коренная слабость: очень многие члены природных сообществ не имеют никакой экономической ценности. Например, дикие цветы и певчие птицы. Из 22 тысяч висконсинских растений и животных вряд ли 5% могут быть проданы, скормлены, съедены или еще как-нибудь употреблены с экономической выгодой. Однако все они входят в биотическое сообщество, и если (как я убежден) его стабильность опирается на его целостность, они имеют право на сохранение.



Когда под угрозой оказывается одна из этих неэкономических категорий, которая нам нравится, мы пускаемся на хитрости, чтобы подыскать для нее экономическое значение. В начале века считалось, что певчие птицы начинают исчезать. Орнитологи бросились им на выручку, приводя довольно-таки шаткие доказательства, будто нас сожрут насекомые, если птицы больше не будут их контролировать. Чтобы выглядеть убедительно, доказательства должны были носить экономический характер.

Сейчас больно читать эти красноречивые излияния. У нас пока еще нет этики природы, но мы хотя бы приблизились к признанию того факта, что птицы должны существовать в силу своего биотического права независимо от того, выгодно это нам экономически или нет.

В сходном положении оказались хищные млекопитающие, хищные и рыбацкие птицы. Было время, когда биологи злоупотребляли ссылками на то, что хищники поддерживают здоровье популяций промысловых животных, уничтожая слабых и больных, или что они истребляют грызунов, уберегая тем самым поля фермера от вредителей, или же что они питаются только «ни к чему не пригодными» видами. Тут опять-таки доказательства, чтобы выглядеть убедительно, должны были носить экономический характер. И лишь в последние годы мы услышали более честный довод, что хищные животные — это члены сообщества, и ни у кого нет права уничтожать их из-за своекорыстной выгоды, реальной или воображаемой. К сожалению, этот просвещенный взгляд остается пока на стадии речей, а тем временем истребление хищников в природе бодро продолжается, о чем свидетельствует хотя бы окончательное истребление волков, неуклонно приближающееся с санкции конгресса, бюро охраны природы и законодательных собраний многих штатов.

Некоторые виды деревьев вычеркиваются экономически мыслящими лесоводами, потому что они либо растут слишком медленно, либо дают слишком дешевую древесину, а потому экономически невыгодны. В таких изгоях числятся восточная туя, лиственница, кипарис, бук и тсуга. В Европе, где лесное дело занимает более передовые экологические позиции, некоммерческие виды деревьев признаются членами местного лесного сообщества и как таковые подлежат сохранению в пределах разумного. К тому же некоторые из них (например, бук), как выяснилось, играют важную роль в повышении плодородия почвы. Взаимозависимость компонентов леса — видов деревьев, напочвенного покрова и животных — считается в Европе само собой разумеющейся.

Экономической ценности могут быть лишены не только отдельные виды или группы, но и целые биотические сообщества — достаточно назвать болота, трясины, дюны и пустыни. Наш рецепт для таких случаев — возлагать их сохранение на государство в виде заказников, резерватов и национальных парков. Беда лишь в том, что они, как правило, перемежаются более ценными землями, принадлежащими частным лицам, и государство не в силах охранять и сберегать такие разбросанные лоскутки дикой природы. В результате многие из них мы оставляем на произвол

судьбы и на верную гибель. Если бы частный владелец был просвещен экологически, он гордился бы ролью хранителя таких уголков, дарящих красоту и разнообразие не только его ферме, но и всему краю.

В ряде случаев мнение, будто от таких «бесполезных земель» нет никакой выгоды, оказалось неверным, но выяснилось это, лишь когда с большинством из них было покончено. Примером могут послужить нынешние торопливые попытки вновь обводнить ондатровые болота.

В подходе американцев к сохранению дикой природы существует явная тенденция перекладывать на государство исполнение обязанностей, о которых не желают думать частные владельцы. В настоящее время в лесном деле, в сохранении пастбищ, почвы и водоразделов, в организации национальных парков и резерватов, в регулировании рыболовства и охране перелетных птиц все большую роль начинает играть государство, скупая земли, руководя необходимыми операциями, субсидируя их и устанавливая соответствующие правила. В значительной степени это полезно и логично, а во многом и неизбежно. Естественно, что я отношусь к этому одобрительно — ведь значительную часть своей жизни я сам принимал деятельное участие в подобных мероприятиях. Тем не менее встает вопрос: до какой степени может увеличиваться роль государства в охране природы? Хватит ли финансовых средств для поддержания подобной структуры? В какой момент государственная охрана природы, подобно мастодонту, окажется жертвой собственного гигантизма? Выходом, если тут вообще есть выход, может стать этика природы или аналогичная ей моральная категория, которая побудит частных землевладельцев выполнять лежащие на них обязательства.

Те, кто эксплуатирует природу и землю в промышленных целях, особенно лесопромышленники и скотоводы, имеют обыкновенно громко и долго сетовать по поводу расширения государственной земельной собственности и правил, регулирующих пользование природными ресурсами, однако они (с определенными исключениями) не склонны прибегать, по-видимому, к единственной альтернативе — добровольному принятию мер по охране природы на своей собственной земле.

Когда частного землевладельца просят в наши дни сделать что-либо без выгоды для себя, но для блага общества, он соглашается, только подставляя ладонь. Если все упирается в деньги, это еще ничего, но если требуются предусмотрительность, заботливость или время, исход по меньшей мере сомнителен. В росте субсидий на пользование землей, столь стремительном за последние годы, в значительной мере повинны государственные

агентства, задача которых — просвещать население в вопросах охраны природы: земельные бюро, сельскохозяйственные колледжи и тому подобное. Насколько мне известно, ни одно из них не учит этическим обязательствам по отношению к земле.

Короче говоря, система сохранения природы, опирающаяся только на своекорыстные экономические интересы, безнадежно перекошена. Она имеет тенденцию игнорировать и в результате уничтожать многие элементы природного сообщества, если они лишены коммерческой ценности, хотя, насколько мы знаем, необходимы для его нормального функционирования. Такая система исходит из предпосылки — на мой взгляд, ложной, — что экономически важные части биотических часов будут функционировать и без экономической бесполезных частей. Эта система имеет тенденцию перекладывать на государство обязанности, которые становятся слишком многочисленными, слишком сложными и слишком разнообразными, так что государство перестает с ними справляться.

По-видимому, есть только один выход — частные землевладельцы должны признать свои этические обязанности.

ПИРАМИДА ЗЕМЛИ

Этика, дополняющая и контролирующая экономическое отношение к земле, предполагает существование мысленного образа земли как биотического механизма. Мы способны быть этичными только по отношению к тому, что можем видеть, чувствовать, понимать, любить или еще как-то дарить доверием.

В пропаганде сохранения земли широко фигурирует метафора «равновесие в природе». По причинам, слишком сложным, чтобы объяснять их здесь, эта фигура речи не передает точно то немногое, что нам известно о механизме земли. Гораздо ближе к истине образ, используемый в экологии, — биотическая пирамида. Сначала я объясню эту пирамиду, символизирующую землю, а затем подробно расскажу о том, как все это влияет на использование земли.

Растения поглощают энергию солнца. Эта энергия циркулирует в системе, которую мы называем биотой и можем изобразить в виде многоступенчатой пирамиды. Нижняя ступень — почва. Ступень, на которой располагаются растения, опирается на почву; ступень,

на которой располагаются насекомые, — на растения; птицы и грызуны — на насекомых и так далее, через различные группы животных, к вершине, на которой находятся крупные хищники.

Виды, составляющие одну ступень, объединены по происхождением или внешним сходством, по типу пищи. Каждая последующая ступень зависит от нижележащих, снабжающих ее пищей, а нередко убежищами и т. п., и в свою очередь обеспечивает пищей верхние ступени. Количественно ступени уменьшаются от нижней к верхней. Так, на каждого хищника приходится сотни особей его потенциальной добычи, тысячи особей добычи его добычи, миллионы насекомых, неисчислимые растения. Пирамидальная форма системы отражает это возрастание численности от вершины к основанию. Человек стоит на одной из промежуточных ступеней рядом с медведями, енотами и белками, которые едят как мясную, так и растительную пищу.

Линии зависимости, отражающие передачу заключенной в пище энергии от ее первоначального источника (растения) через ряд организмов, каждый из которых поедает предыдущий и поедается последующим, называются цепями питания. Так, почва — дуб — олень — индеец — это цепь питания, которая в настоящее время преобразилась в цепь почва — кукуруза — корова — фермер. Каждый вид, включая и нас, — это звено многих цепей питания. Олень кормит сотня других растений, кроме дуба, а корову — кроме кукурузы. Следовательно, и олень и корова являются звеньями сотни цепей. Пирамида представляет собой столь сложное переплетение цепей питания, что оно кажется беспорядочным, однако стабильность системы доказывает ее высокую организованность. Функционирование системы зависит от сотрудничества и конкуренции ее различных частей.

Вначале пирамида жизни была низкой и непропорционально широкой, цепи питания — короткими и простыми. Эволюция добавляла ступень за ступенью, звено за звеном. Человек — это одно из тысяч добавлений, благодаря которым пирамида становилась выше и сложнее. Науке мы обязаны многими сомнениями, но и одной достоверной истиной: эволюции свойственна тенденция делать биоту все более дробной и разнообразной.

Земля, таким образом, — это не просто почва, но источник энергии, циркулирующей по системе, состоящей из почвы, растений и животных. Цепи питания — это живые каналы, подающие энергию вверх, а смерть и тление возвращают ее в почву. Система не замкнута — часть энергии теряется в процессе тления, часть добавляется поглощением из воздуха, часть накапливается в почве, торфе и долгоживущих лесах, но это постоянно действующая система, своего рода медленно накапливаемый и находящийся

в постоянном обращении фонд жизни. Всегда какая-то часть утрачивается, уносясь с водой в море, но обычно такие потери невелики и компенсируются разрушением коренных пород. К тому же в океане утраченная почва осаждается на дно и в ходе геологических эпох поднимается над водой, образуя новую землю и новые пирамиды.

Скорость и характер подачи энергии вверх зависят от сложной структуры сообщества растений и животных, аналогично тому как подача вверх древесного сока зависит от сложного клеточного строения древесины. Без этой сложности нормальная циркуляция, вероятно, не могла бы осуществляться. Структура требует конкретного количества составляющих ее видов, а не только их конкретных форм и функций. Взаимозависимость сложной структуры земли и ее нормального энергетического функционирования составляет одно из основных ее свойств.

Когда в одной части системы происходит изменение, многие другие части вынуждены приспособливаться к нему. Изменение вовсе не обязательно препятствует подаче энергии или направляет ее в другую сторону. Эволюция представляет собой гигантскую серию самоиндуцированных изменений, в конце концов приведших к усложнению механизмов системы и к ее удлинению. Однако эволюционные изменения, как правило, происходят медленно и носят локальный характер. Придумав орудия, человек получил возможность производить изменения, беспрецедентные по силе, скорости и масштабам.

Одно такое изменение затрагивает состав флоры и фауны. С вершины пирамиды срезаны крупные хищники — впервые за всю историю эволюции цепи питания укоротились, вместо того чтобы удлиняться. Одомашненные животные из других географических областей заменяют диких, а дикие отесняются в новые места обитания. В результате такого всемирного смещения флор и фаун некоторые виды вырываются из-под контроля и превращаются во вредителей, другие вымирают. Такие последствия редко предвидятся заранее или вызываются умышленно. Они представляют собой непредсказуемые, а часто и непрослеживаемые попытки системы приспособиться к изменениям в ее структуре. Агробиология в значительной мере сводится к гонке между появлением новых вредителей и созданием новых средств борьбы с ними.

Другое изменение касается движения энергии через растения и животных и ее возвращения в почву. Плодородие — это способность почвы получать, накапливать и высвобождать энергию. Сельское хозяйство, слишком интенсивно эксплуатируя почву или слишком резко заменяя местные виды одомашненными, может

нарушить каналы движения энергии или истощить ее запасы. Почвы, лишенные запаса энергии или хранящих ее органических веществ, смываются быстрее, чем образуются. Это и есть эрозия.

Воды, как и почвы, входят в систему циркулирования энергии. Промышленность, загрязняя воды или нарушая их движение плотинами, угрожает системе лишением растений и животных, необходимых для циркулирования энергии.

Современный транспорт вносит еще одно существенное изменение — растения и животные, выросшие в одной области, теперь используются и возвращаются почве в другой. Энергия, скрытая в породах и воздухе, забирается и используется в других местах. Так, мы удобряем свой огород гуано, то есть азотом, который птицы по ту сторону экватора извлекли из морских рыб. Короче говоря, прежние локальные и самодостаточные системы теперь воздействуют друг на друга в мировом масштабе.

В процессе изменения пирамиды для удобств человека высвобождаются запасы энергии, и в момент первичного использования часто создается обманчивое изобилие растительной и животной жизни, как дикой, так и одомашненной. Эта растрата биологического капитала нередко затемняет или отсрочивает губительные последствия насилия над природой.

Вышеприведенное краткое описание земли как энергетической системы подсказывает три основные идеи:

- 1) Земля — это не просто почва.
- 2) Местные растения и животные поддерживали энергетическую систему в действии, ввезенные же, возможно, сохранили ее, а возможно, разрушат.
- 3) Изменения, вносимые человеком, отличаются от эволюционных изменений, и последствия их бывают гораздо опаснее, чем предполагалось или предвиделось.

В совокупности эти идеи порождают два жизненно важных вопроса. Может ли земля приспособиться к новому порядку? Нельзя ли добиться желаемых изменений без насилия над ней?

Биоты, по-видимому, обладают различной способностью выдерживать насильственные изменения. В современной Европе, например, пирамида очень непохожа на ту, которую в свое время нашел там Юлий Цезарь. Некоторые крупные хищники исчезли; болотистые леса сменились лугами или пашнями; было ввезено много новых животных и растений, причем некоторые вышли из-под контроля и стали вредителями; распределение и количество местных животных и растений заметно изменилось. Однако почва не исчезла и благодаря ввозимым удобрениям все еще

плодородна, воды текут нормально — судя по всему, новая структура функционирует стабильно. Движение энергии не прервалось и заметно не нарушается.

Следовательно, Западная Европа обладает упругой биотой; внутренние процессы которой устойчивы, гибки и выдерживают значительные воздействия извне. Как и пирамида, пирама были пассивны, пирама выработала новые способы существования и до сих пор в силах поддерживать человека и большинство других исконных своих членов.

Другим примером радикального преобразования без дезорганизации жизни земли может как будто служить Япония.

В большинстве других цивилизованных районов мира и в некоторых лишь чуть затронутых цивилизацией наблюдаются различные стадии дезорганизации, от первых симптомов до далеко зашедших потерь. В Малой Азии и Северной Африке диагноз затрудняется климатическими изменениями, которые могли быть как причиной, так и следствием значительных потерь. В Соединенных Штатах Америки степень дезорганизации меняется от места к месту. Особенно плохо дело обстоит на юго-западе, на плато Озарк и кое-где на юге, а лучше всего — в Новой Англии и на северо-западе. Соблюдение правил использования земли еще может остановить дезорганизацию в менее затронутых ею районах. В ряде областей Мексики, Южной Америки, Южной Африки и Австралии идет бурный и все ускоряющийся процесс опустошения, но я не берусь предсказывать дальнейшее его течение.

Эту почти всемирную дезорганизацию жизни земли можно уподобить болезни животного, с тем лишь отличием, что она никогда не достигает заключительной своей стадии, то есть смерти. Земля оправляется, но на сниженном уровне сложности и со сниженной способностью поддерживать существование людей, растений и животных. Многие биоты, которые пока считаются «землями неограниченных возможностей», в действительности существуют за счет интенсивного сельского хозяйства, то есть они уже превысили свою способность поддерживать жизнь своих членов.

В засушливых районах мы пытаемся приостановить процесс опустошения с помощью восстановления земли, но вполне очевидно, что в большинстве своем проекты эти слишком кратковременны. На нашем собственном Западе даже лучшие из них рассчитаны не более чем на сто лет.

Объединенные свидетельства истории и экологии как будто приводят к одному общему выводу: чем менее бурны и насильственны производимые человеком изменения, тем больше вероятность успешной перестройки пирамиды. Степень пассивности

в свою очередь зависит от плотности человеческого населения: чем выше плотность, тем более радикальные требуются преобразования. В этом отношении у Северной Америки, если она сумеет ограничить рост плотности своего населения, больше шансов на достижение устойчивости, чем у Европы.

Этот вывод противоречит нашим пылепешим представлениям, будто бесконечный рост плотности населения будет обогащать человеческую жизнь бесконечно. Экологии не известно ни одной формулы, которая допускала бы бесконечное увеличение плотности. Все выгоды, получаемые от плотности, подчинены закону снижения возвратных поступлений.

Каким бы ни было уравнение для людей и земли, в настоящее время нам вряд ли известны все его условия. Недавние уточнения роли минеральных веществ и витаминов в питании обнаружили в движении энергии такие зависимости, о которых прежде никто и не подозревал: ценность почвы для растений и растений для животных определяется микроскопическими количествами тех или иных веществ. Ну, а движение вниз? Какая роль принадлежит исчезающим видам, сохранение которых мы пока считаем лишь эстетической роскошью? Они помогали созданию почвы — так, может быть, хотя мы об этом не подозреваем, они абсолютно необходимы для ее сохранения? Профессор Ушвер предлагает использовать цветы прерий для восстановления гибнущих почв Пыльной Чаши. Кто знает, для чего в один прекрасный день нам могут понадобиться журавли и кондоры, выдры и гризли?

ЗДОРОВЬЕ ЗЕМЛИ И РАСКОЛ А—Б

Следовательно, этика земли отражает существование экологической совести, а тем самым и убеждение в индивидуальной ответственности за здоровье земли. Здоровье земли заключается в ее способности к самообновлению. И охрана природы воплощает наши попытки понять и сохранить эту способность.

Сторонники охраны природы знамениты своими расхождением. На первый взгляд тут как будто царит полный хаос, но при более внимательном рассмотрении легко заметить четкое направление раскола во многих специализированных областях.

В каждой из них одна группа (А) считает, что земля — это почва и что ее функция сводится к производству тех или иных продуктов человеческого потребления, а другая (Б) видит в земле биоту, функция которой много шире. Правда, насколько шире, пока совершенно неясно.

В моей собственной области, в лесоводстве, группа А удовлетворяется выращиванием деревьев, точно капусты, ради целлюлозы как основного продукта леса. Группа эта ничего не имеет против насильственных методов, ее мировоззрение — чисто агрономическое. Группа Б, наоборот, считает, что лесоводство коренным образом отличается от агрономии, потому что оно использует местные биологические виды и управляет естественной средой вместо того, чтобы создавать искусственную. Группа Б принципиально предпочитает естественное воспроизводство. Потеря видов — например, каштана — и гибель, грозящая веймутовой сосне, беспокоят ее не только из-за экономических, но и из-за биотических последствий. Ее заботит целый ряд внутренних функций лесов: как приюта диких животных, как зон отдыха, как защитного покрова водоразделов, как охраняемых участков. На мой взгляд, группа Б испытывает угрызения экологической совести.

Аналогичный раскол существует и в отношении к диким животным. Группа А рассматривает их только с точки зрения спортивной и промысловой охоты и рыболовства. Производительность измеряется количеством добытых фазанов и форелл. Искусственное разведение принимается не как временный выход из положения, а как постоянное средство, разумеется, если оно себя окупает. Группу Б, наоборот, беспокоит целый ряд побочных биотических следствий. Каким числом хищников оплачивается наличие дичи для отстрела? Надо ли нам и дальше прибегать к экзотике? Как можно с помощью регулируемого использования дичи восстановить исчезающие виды, вроде степного тетерева, который давно уже перестал быть промысловой птицей? Как можно восстановить редчайшие виды, вроде лебедя-трубача и американского журавля? Можно ли перенести эти принципы и на дикие цветы? И здесь, как в лесоводстве, мы, несомненно, сталкиваемся с тем же расколом между группами А и Б.

Я недостаточно компетентен, чтобы судить с этой точки зрения о сельском хозяйстве, но, по-видимому, и там наблюдается сходная картина. Наука о сельском хозяйстве активно развивалась задолго до рождения экологии, а потому проникновение в нее экологических идей идет медленно. Кроме того, фермер по самой природе своих методов должен изменять биоту гораздо более круто, чем лесничий или охотовед. Тем не менее и в сель-

ском хозяйстве есть много недовольных, мечтающих о чем-то вроде «биотического земледелия».

Наиболее важны, пожалуй, новые доказательства того, что пищевую ценность урожая сельскохозяйственных культур нельзя измерять только тоннами — продукт плодородной почвы может быть не просто количественно больше, но качественно лучше. Пусть мы, накачивая истощенную почву привозными удобрениями, количественно увеличиваем урожай, это вовсе не значит, что мы поднимаем его пищевую ценность. Если это действительно так, то следствия должны быть настолько сложными и далеко идущими, что я предпочту оставить их рассмотрение тем, чье перо способнее моего.

Экологические основы сельского хозяйства одинаково мало известны и широкой публике, и специалистам в других областях использования земли. Например, даже образованные люди лишь редко отдают себе отчет в том, что поразительные успехи в развитии методов сельского хозяйства за последние десятилетия представляют собой улучшение насоса, а не колодца. В целом успехи эти еле-еле уравнивают снижение плодородия.

Во всех этих расколах мы видим повторение одних и тех же парадоксов: человек-завоеватель против человека — члена биоты; наука, точащая его меч, против науки — прожектора, освещающего его вселенную; земля — рабыня и служанка против земли — коллективного организма. Призыв, с которым Робинсон обращается к Тристраму, можно в данный момент адресовать *Homo sapiens*, как виду, существующему в геологическом времени:

Желаешь ли ты этого или нет,
Ты — царь, Тристрам. Ведь ты принадлежишь
К тем редким избранным, кто, уходя,
Мир оставляет не таким, как прежде.
Так взвесь, что за собой оставишь ты.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Я не представляю себе, что этическое отношение к земле может существовать без любви и уважения к ней, без благоговения перед ее ценностью. Я говорю здесь, разумеется, не об экономической ценности, а о ценности в философском смысле.

Пожалуй, наиболее серьезное препятствие на пути развития этики земли заключается в том, что наша образовательная и экономическая системы скорее уведут от подлинного понимания

земли, чем способствуют ему. Сугубо современный человек отделен от земли множеством посредников и бесчисленными механическими приспособлениями. У него нет с ней связи и он видит в ней лишь пространство между городами, производящее пищевые продукты. Оставьте его на день наедине с землей, и, если там не окажется поля для гольфа или какого-нибудь «красивого пейзажа», у него челюсти сведет от скуки. Его вполне устроит, если гидропоника заменит земледелие. Синтетические заменители дерева, кожи, шерсти и других естественных продуктов земли подходят ему больше, чем они сами. Короче говоря, земля — это то, из чего он «давно вырос».

Почти столь же серьезным препятствием этике земли остается мироощущение фермера, для которого земля все еще противник или поработивший его суровый хозяин. Теоретически механизация сельского хозяйства должна освободить фермера от оков, но так ли это на самом деле — вопрос другой.

Для того чтобы понимать землю с позиций экологии, необходимо понимать экологию, а это отнюдь не обеспечивается «образованностью». Собственно говоря, высшее образование почти во всех областях словно бы сознательно избегает экологических понятий. И понимание экологии вовсе не обязательно дается учебными программами, снабженными экологическими ярлычками, — его с тем же успехом могли бы обеспечивать география, ботаника, агрономия, история или экономика. Но каков бы ни был ярлычок, экологическое образование — большая редкость.

Будущее этики земли выглядело бы безнадежным, если бы не существовало меньшинства, открыто восстающего против этих «современных» тенденций.

Чтобы открыть дорогу становлению этики, достаточно одного: просто перестаньте считать бережное обращение с землей чисто экономической проблемой. Рассматривая каждый вопрос, ищите не только то, что экономически выгодно, но и то, что хорошо этически и эстетически. А хороша любая мера, способствующая сохранению целостности, стабильности и красоты биотического сообщества. Все же, что этому препятствует, дурно.

Конечно, экономическая целесообразность ограничивает возможности того, что можно сделать или не сделать для земли. Так было и так будет всегда. Ошибка же, которую нам навязали экономические детерминисты и от которой необходимо избавиться, заключается в убеждении, будто экономика определяет любое использование земли. Это попросту неверно. Действия того, кто пользуется землей, и его отношение к ней в значительной мере определяются не его кошельком, а его вкусами и склонностями. Взаимоотношения с землей опираются главным образом на зат-

рату времени, предусмотрительности, умения и веры, а не на вложение наличных.

Однако эволюция этики земли — процесс не только эмоциональный, но и интеллектуальный. Путь к сохранению дикой природы вымощен благими намерениями, которые на поверку оказываются невыполненными или даже опасными, потому что они лишены критического понимания либо земли, либо экономического ее использования. Само собой разумеется, что по мере того, как передовые этические взгляды из индивидуальных становятся общественными, растет и их интеллектуальное содержание.

Система воздействия та же, что и в любой этике, — общественное одобрение хороших действий, общественное порицание действий дурных.

В целом наша нынешняя проблема сводится к мировоззрению и орудиям. Мы переделываем Альгамбру с помощью экскаватора и гордимся его производительностью. От экскаватора мы вряд ли откажемся — в конце-то концов он обладает рядом достоинств, однако для его успешного применения следует найти более тонкие и объективные критерии, чем кубометры.

Дикая природа

Дикая природа — это сырье, из которого человек выковал изделие, именуемое цивилизацией.

Дикая природа никогда не была однородным сырьем. Она крайне разнообразна, а потому разнообразны и изделия из нее. Эти различия в конечном продукте именуются культурами. Богатейшее разнообразие мировых культур отражает разнообразие породившей их дикой природы.

Впервые за всю историю рода человеческого вот-вот произойдут два кардинальных изменения. Во-первых, полное истощение дикой природы в наиболее населенных частях земного шара. Во-вторых, всемирная гибридизация культур, объясняющаяся развитием современных транспортных средств и индустриализацией. Ни тому, ни другому препятствовать невозможно, да, пожалуй, и не следует. Однако возникает вопрос, нельзя ли, кое-что смягчив, спасти некоторые ценности, которые иначе погибнут безвозвратно.

Для того, кто трудится в поте лица своего, сырье на накопительнице — это противник, которого необходимо победить. Таким противником и была дикая природа для первопоселенцев.

Но для отдыхающего труженика, у которого есть минута, чтобы философски обозреть свой мир, то же сырье становится предметом любви и забот, потому что оно придает его жизни определенность и смысл.

Это — мольба о сохранении лоскутков дикой природы ради поучения тех, кто когда-нибудь захочет увидеть, почувствовать или познать истоки своего культурного наследия.

ОСТАТКИ

Дикая природа, из которой мы выковали нынешнюю Америку, во многих местах уже погибла безвозвратно. Поэтому выбранные для ее сохранения участки неизбежно должны заметно различаться в размерах и степени дикости.

Ни один человек никогда более не увидит высокотравную прерию, где море цветов било волнами по склонам первопоселенца. А нам лишь бы найти местечко там, местечко здесь, где удалось бы сохранить растения прерии как виды. Таких растений сотни, и многие удивительно красивы. Но те, кто унаследовал их владения, по большей части ничего о них не знают.

Однако низкотравная прерия, где Кабеса де Вака видел горизонт под брюхом бизона, еще сохранилась кое-где на площади около 10 тысяч акров, хотя ее и сильно пощипали овцы, рогатый скот и фермеры. Если первопоселенцы середины прошлого века заслужили увековечения на стенах законодательных собраний штатов, неужели места их подвигов не достойны того, чтобы их увековечили в нескольких заповедных участках прерии?

Ни один человек больше никогда не увидит девственные сосновые боры озерных штатов, или хвойные леса береговых равнин, или гигантские лиственные леса. Тут придется довольствоваться несколькими акрами, напоминающими о былой красе и славе. Но есть еще отдельные леса кленов и тсуги площадью в тысячи акров, есть лиственные леса в Аппалачах, есть лиственные леса на болотах юга страны, есть кипарисовые болота и адирондакские еловые боры. Редко какому из этих остатков не грозит шила, а будущие шоссе для туристов угрожают всем.

Особенно быстро дикая природа гибнет на побережьях. Летние дачи и шоссе практически уничтожили ее на берегах обоих океанов. А в настоящее время озеро Верхнее теряет последний большой участок диких берегов, еще сохранявшийся на Великих озерах. Нигде дикая природа не сплеталась так тесно с нашей историей, и нигде она так не близка к полному исчезновению.



Во всей Северной Америке к востоку от Скалистых гор есть только один большой участок, официально сохраняемый как заповедник дикой природы, — Международный парк Куэтико-Сьюпириор в Миннесоте и Онтарио. Значительная часть этого великолепного дикого края озер и рек лежит в Канаде, и общая величина его зависит от Канады, но пока его целостности угрожают два фактора: рост рыболовных курортов, обслуживаемых гидропланами, и юридический спор о том, должна ли миннесотская его часть быть национальным лесом или лесом штата. Всему району

грозят энергетические сооружения, и злополучный раскол среди сторонников сохранения дикой природы может кончиться тем, что верх возьмут энергетики.

В Скалистых горах во многих национальных лесах штаты закрыли десятки участков площадью от сотни тысяч до полумиллиона акров для отелей, шоссе и других сооружений, враждебных дикой природе. Тот же принцип проводится и в национальных парках, но конкретные границы там не обозначены. Взятые вместе, эти федеральные участки представляют собой основу программы сохранения дикой природы, но положение их вовсе не так надежно, как выглядит на бумаге. Местные власти, заинтересованные в постройке шоссе для туристов, отщипывают кусочек там, отрезают лоскутик здесь. Не прекращаются требования постройки дорог для борьбы с лесными пожарами, но эти дороги постепенно открываются и для общего пользования. А опустевшие лагеря Гражданского корпуса так и соблазняют проводить новые и часто ненужные дороги. Нехватка лесоматериалов послужила поводом протянуть дороги дальше — и законно, и незаконно. В настоящее время во многих горных районах, прежде отведенных под охраняемые территории, строятся отели и канатные дороги для лыжников.

Одно из самых коварных вторжений в дикую природу осуществляется через контроль над хищниками. Происходит это следующим образом: ради сохранения крупной дичи определенные участки дикой местности очищаются от волков и пум. В результате численность оленей и лосей возрастает настолько, что им грозит бескормица. Для отстрела излишков приходится привлекать охотников. Однако нынешние охотники не желают расставаться со своими автомобилями, и приходится строить шоссе, открывающее доступ к крупной дичи. В результате этого процесса районы дикой природы все больше дробятся, и никто не кладет ему конец.

В Скалистых горах нетронутые участки дикой природы включают широкий спектр лесов — от можжевельников по ущельям юго-запада страны до «бескрайних лесов, где катит воды Орегон». Однако пустынные участки там нигде не охраняются — вероятно, потому, что подростковая эстетика ограничивает понятие «красивого пейзажа» озерами и сосновыми борами.

В Канаде и на Аляске пока еще сохраняются широкие пространства девственной природы,

где люди безмяшные блуждают
у безмяшных рек,
в неведомых лесах неведомую смерть
встречая одиноко.

Можно и нужно сохранить эту систему заповедных территорий, тем более что экономическая цепность большинства их очень мала или равна нулю. Существует, конечно, возражение, что для этого не нужно принимать никаких мер: значительные территории, мол, сохраняются сами собой. Но история последнего времени опровергает столь утешительное самовнушение. Если даже дикое приволье кое-где и сохранится, можно ли сказать то же о его обитателях? Лесные карibu, несколько рас снежного барана, лесные бизоны, гризли, пресловодная кольчатая нерпа, киты — всем им грозит близкое и полное исчезновение. А что толку от участков дикой природы без их своеобразной фауны? Уже сейчас различные организации и группы освоения ведут активную индустриализацию арктических пустынь и намечаются еще более широкие планы. Дикая природа Дальнего Севера пока еще лишена официальной защиты и несет все больший и больший ущерб.

В какой мере Канада и Аляска сумеют распознать и сберечь свои возможности, покажет будущее. Первопоселенцы обычно жаждут только цивилизации.

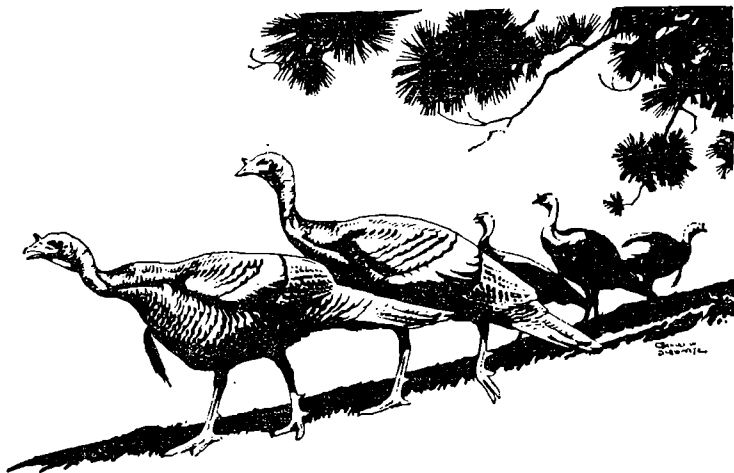
ДИКАЯ ПРИРОДА ДЛЯ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

На протяжении бесчисленных веков физическая борьба за средства существования обуславливалась экономическим фактором. Когда она отошла в прошлое, здоровый инстинкт помог нам сохранить ее идею в форме различных спортивных состязаний и игр.

Физическая борьба между людьми и зверями также обуславливалась экономическим фактором, а теперь она сохраняется как спортивная охота и рыболовство.

Заповедные участки дикой природы в первую очередь позволяют нам хотя бы в виде спорта поддерживать в действии тот комплекс мужественных приемов, благодаря которым человек мог странствовать и существовать в не тронутой цивилизацией глуши.

Хотя в частности эти приемы были приспособлены к американским условиям, они остаются общечеловеческими — будь то охота, рыбная ловля или пешие походы с рюкзаком. Однако путешествия на каное или с вьючной лошадейю по горам были исконно американскими, как гикори; им подражали и в других странах,



но полного развития они достигли лишь на нашем континенте. Однако они быстро сходят на нет. У индейца Гудзонова залива есть теперь «тука-тука-тука», а у горца — «форд». Если бы мне приходилось добывать хлеб насущный с помощью каноев или вьючной лошади, я последовал бы их примеру, так как это очень тяжелый труд. Но мы, отправляющиеся путешествовать по дикой глуши ради удовольствия, оказываемся в глупом положении, когда нас вынуждают конкурировать с механизированными суррогатами. Как-то нелепо тащить каноев волоком под аккомпанемент проносящихся мимо моторок или пустить кобылу пасть на привале под окнами отеля. Лучше уж остаться дома.

Участки дикой природы — это и возможность сохранить искусство путешествий в его первоизданном виде, особенно с помощью каноев или вьючных лошадей.

Вероятно, кто-нибудь возразит, что вряд ли так уж важно сохранять это первобытное искусство. Не стану спорить. Либо оно у вас в крови, либо вы очень-очень стары.

Европейские спортивные охотники и рыболовы уже лишены того, что у нас можно было бы спасти, сохраняя участки дикой природы. Европейцы не разбивают лагеря, не стряпают и не обслуживают себя в лесу, если могут этого избежать. Черная работа остается на долю загонщиков и прислуги, так что охота больше напоминает пикник, чем разведку первоизданной глуши. Состязание в сноровке ограничивается главным образом непосредственной добычей дичи или рыбы.

Есть люди, осуждающие подобное использование дикой природы, как «недемократичное», поскольку такие уголки могут безболезненно обслужить заметно меньше людей, чем поле для гольфа или туристический комплекс. Этот аргумент принципиально ошибочен, так как он прилагает философию массового производства к тому, что предназначено быть противоядием против массового производства. Ценность отдыха и развлечений измеряется не в цифрах. Она пропорциональна полноте переживания, а также степени, в какой они отличаются от обычной жизненной рутины и контрастируют с ней. По этим критериям механизированные выезды на природу в лучшем случае — манная кашка.

Механизированный отдых уже завладел девятью десятками всех лесов и гор, а потому элементарное уважение к меньшинству требует, чтобы оставшаяся одна десятая была отдана дикой природе.

ДИКАЯ ПРИРОДА ДЛЯ НАУКИ

Наиболее важное свойство организма — это способность к внутреннему самообновлению, которую мы называем здоровьем.

Есть два организма, процессы самообновления которых подверглись человеческому вмешательству и контролю. Во-первых, сам человек (медицина и здравоохранение); во-вторых, земля (сельское хозяйство и охрана природы).

Попытки контролировать здоровье земли оказались не слишком удачными. Теперь уже общеизвестно: если почва утрачивает плодородие или смывается быстрее, чем образуется, если уровень воды в реках то необычно повышается, то падает, значит, земля больна.

Известны и другие нарушения, но в них пока еще не распознали симптомов недуга земли. Исчезновение без видимой причины одних видов растений или животных вопреки всем усилиям сохранить их, стремительное вредоносное распространение других вопреки всем усилиям сдерживать их должны, пока не найдено иного объяснения, рассматриваться, как симптомы болезни, поразившей организм земли. Оба эти явления наблюдаются настолько часто, что их нельзя считать нормальным ходом эволюции.

Наше отношение к таким недугам земли воплощается в том факте, что мы все еще пытаемся лечить их локально — и только. Так, когда почва теряет плодородие, мы не жалеем удобрений или

в лучшем случае меняем ее окультуренную флору и фауну, забывая, что дикая флора и фауна, создававшие эту почву, возможно, необходимы ей и теперь. Например, недавно было установлено, что по какой-то неизвестной причине хороший урожай табака можно получить, если почву подготовит дикая амброзия. Нам не приходится в голову, что цепи столь же неожиданных зависимостей могут быть распространены в природе очень широко.

Когда луговые собачки, суслики и бурундуки вдруг начинают бурно размножаться, превращаясь в серьезных вредителей, мы травим их ядами, но не ищем причины такого взрыва, бессознательно считая, что во всех неприятностях, приносимых животными, повинны животные же. Последние научные открытия указывают, что подобные взрывы размножения, возможно, связаны с нарушением растительных сообществ, но исследования в этом направлении почти не ведутся.

Во многих лесных посадках деревья теперь заметно тоньше тех, которые росли на той же почве прежде. Почему? Вдумчивые лесоводы понимают, что причина, возможно, заключена не в деревьях, но в микрофлоре почвы и что для ее восстановления требуется гораздо больше лет, чем понадобилось, чтобы ее уничтожить.

Методы лечения болезней земли нередко остаются чисто симптоматическими. Дамбы для борьбы с паводками не имеют никакого отношения к причинам паводков. Подпорные стенки и террасы не воздействуют на причины эрозии. Заказники и рыбноводческие хозяйства, которые должны обеспечивать достаточное количество дичи и рыбы, не объясняют, почему это количество приходится обеспечивать мерами извне.

Короче говоря, имеющиеся данные указывают, что болезни земли, как и болезни человека, могут поражать один орган, но проявляться в функциях другого. То, что мы сейчас называем методами охраны природы, в основном представляет собой локальное облегчение страданий биоты. Они необходимы, но их не следует считать лечением. Искусство врачевания земли практикуется с большим усердием, но наука о здоровье земли еще не родилась.

Для этой науки в первую очередь необходимы сведения о норме, то есть точное представление о здоровой земле, существующей как единый организм.

У нас есть два образчика нормы. Такой, когда физиология земли остается в целом нормальной, несмотря на долговременное человеческое обитание. Мне известно лишь единственное подобное место — северо-восточная Европа. И конечно, нам следует учесть этот пример.

Второй образчик нормы, и нормы идеальной,— это дикая природа. Палеонтология дает нам множество свидетельств того, что дикая природа поддерживала себя на протяжении колоссальных периодов, что составляющие ее виды редко утрачивались и не выходили из-под контроля, что климат и вода создавали почву столь же быстро, как она уносилась прочь, а возможно, и быстрее. Следовательно, уголки первозданной природы неожиданно приобретают особую важность в качестве лаборатории для изучения здоровья земли.

Нельзя изучать физиологию Монтаны на берегах Амазонки. Каждая биотическая область для сравнительного изучения использовавшейся и неиспользовавшейся земли требует своей дикой природы. Разумеется, сейчас для изучения дикой природы удастся спасти лишь довольно однобокую систему участков, причем большинство из них настолько малы, что не могли остаться нормальными во всех отношениях. Даже национальные парки, площадью до миллиона акров каждый, все же не настолько велики, чтобы сохранить исконных хищников и избежать болезней, которые разносит домашний скот. Йеллоустон потерял своих волков и пум, и теперь вапити губят его флору, особенно на зимних пастбищах. Падает численность гризли и снежных баранов — этих последних косят эпизоотии.

Таким образом, даже крупнейшие участки дикой природы терпят невозместимый ущерб. Однако Д. Э. Уиверу хватило нескольких нетронутых акров, чтобы установить, почему исконная флора прерий была более устойчива к засухам, чем вытеснившие ее сельскохозяйственные культуры. Уивер обнаружил, что растения прерий распределяют свою корневую систему по всем уровням почвы, тогда как виды, входящие в севооборот, истощают один уровень, не затрагивая остальных, и таким образом вызывают нарастающее оскудение. Так исследования Уивера выявили важный агрономический принцип.

Тогредьяку тоже потребовалось лишь несколько акров, чтобы выяснить, почему сосны на бывших пашнях никогда не достигают мощи и ветроустойчивости сосен, растущих на нерасчищенных лесных почвах. Корни последних используют прежние корневые каналы и в результате проникают глубже.

Нередко мы в буквальном смысле слова не знаем, чего следует ждать от здоровой земли, если у нас нет нетронутых участков, чтобы сравнить их с больными. Так, первые путешественники чаще всего описывают горные реки юго-западной части страны как совершенно прозрачные, однако считать это неопровержимым свидетельством нельзя — ведь они могли наблюдать их в особо благоприятное время года. Специалисты по борьбе с эрозией не

имели исходных данных, пока не выяснилось, что точно такие же реки в горах Сьерра-Мадре в Чиуауа, которых из-за страха перед индейцами никогда не использовали и по берегам которых не пасли скот, в наилучшие периоды приобретают лишь слегка молочный оттенок и достаточно прозрачны, чтобы форель брала на мушку. Их берега поросли мхом до самой воды, тогда как берега большинства аналогичных рек в Аризоне и Нью-Мексико каменисты, лишены мха, лишены почвы и почти лишены деревьев. Создание международной экспериментальной лаборатории для сохранения и изучения дикой природы Сьерра-Мадре, чтобы помочь излечению большой земли по обе стороны границы, было бы добрососедским начинанием, о котором следует подумать.

Короче говоря, еще сохранившиеся участки дикой природы, и большие и маленькие, очень ценны, как контрольная норма для науки о земле. Отдых и развлечения — это не единственная и даже не главная польза, которую они могут принести.

ДИКАЯ ПРИРОДА ДЛЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

Национальные парки беспильны сохранить крупных хищников, о чем свидетельствует критическое положение гризли и тот факт, что эти парки уже лишились волков. Не спасают они и снежных баранов, численность которых почти повсеместно сокращается.

Причины этого в одних случаях ясны, в других — нет. Парки, несомненно, слишком малы для таких видов, как волки с их огромными охотничьими территориями. А многие виды по неизвестным причинам начинают хиреть, если популяция оказывается разделенной на отдельные изолированные группы.

Когда я впервые попал на Запад в 1909 году, там во всех горных массивах водились гризли, но можно было путешествовать месяцами, не встретив никого из службы охраны дикой природы. Теперь там «за каждым кустом» можно наткнуться на какое-нибудь официальное лицо, оберегающее дикую природу, но от этого выигрывают бюро охраны природы, а самое великолепное из наших крупных млекопитающих непрерывно отступает к канадской границе. Из 6 тысяч гризли, которые, по официальным сведениям, еще сохраняются в пределах Соединенных Штатов Америки, 5 тысяч обитают на Аляске. Им могут похвастать всего пять штатов. И ни у кого словно бы нет сомнений, будто вполне доста-

точно, если гризли сохраняются в Канаде и на Аляске. Но мне этого не достаточно. Аляскинские медведи — особый подвид. И довольствоваться гризли на Аляске — все равно, что довольствоваться счастьем, обещанным в раю. Ведь туда можно и не поехать!

Для спасения гризли требуется несколько больших территорий без шоссе и домашнего скота или таких, где ущерб, наносимый скоту, компенсировался бы. Создать такие территории можно, только скупая скотоводческие ранчо, однако бюро охраны природы, хотя они и располагают полномочиями скупать или обменивать земельные участки, в этом отношении не сделали буквально ничего. Служба леса создала резерват гризли в Монтане, но она же поощряет овцеводство в горном резервате в Юте, хотя именно там обитают последние гризли этого штата.

Неприкосновенные резерваты для гризли и неприкосновенные участки дикой природы — это, разумеется, разные обозначения одной и той же проблемы. Борьба за них требует широкого взгляда на вопросы сохранения природы и исторической перспективы. Лишь те, кто способен видеть праздничное шествие эволюции, могут оценить ее театр — дикую природу и выдающееся ее творение — гризли. Но если образование — это действительно просвещение, то все больше и больше будет возрастать число людей, понимающих, что остатки былого Запада сообщают особый смысл и ценность современному. Еще не рожденная молодежь будет подниматься вверх по Миссури с Льюисом и Кларком или взбираться к вершинам Сьерры вместе с Джеймсом Кейпеном Адамсом, и каждое поколение будет по очереди спрашивать: «Где же большой белый медведь, описанный этими путешественниками?» И каким жалким и стыдным будет ответ, что он исчез, пока ревнители природы смотрели в другую сторону!

ЗАЩИТНИКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

Дикая природа — это ресурс, который истощается, но не восстанавливается. Можно прекратить вторжение в нее или ограничить использование данного участка, предоставив его либо для отдыха и развлечений, либо для науки, либо для диких животных, но создать заново нетронутую глушь в полном смысле этого слова невозможно.

Отсюда следует, что любая программа охраны или восстановления дикой природы — это арьергардный бой в попытке свести

потери при отступлении до минимума. Общество защиты дикой природы было организовано в 1935 году «с единственной целью — спасти остатки необжитой глуши в Америке». Сьерра-Клуб трудится ради того же.

Однако горстка таких обществ ничего не решает, как недостаточно и того, что конгресс принял закон о сохранении дикой природы. Если у добровольных обществ не будет единомышленников в каждом бюро охраны природы, они не смогут вовремя узнавать о новых в нее вторжениях. И необходимо, чтобы отряд активных любителей природы нес бдительную охрану по всей стране, оставаясь в постоянной готовности для решительных действий.

В Европе, где дикая природа отступила в Карпаты и в Сибирь, все мыслящие сторонники ее сохранения оплакивают эту потерю. Даже в Англии, где сберечь нетронутые уголки еще труднее, чем в других цивилизованных странах, началось энергичное, хотя и запоздалое движение, чтобы спасти последние небольшие участки полудикой земли.

Способность видеть культурную ценность дикой природы в конечном счете сводится к интеллектуальной скромности. Поверхностный суперсовременный человек, полностью утративший связь с землей, считает, будто он точно знает, что важно, а что нет. Только истинный ученый понимает, что нетронутая дикая природа придает определенность и смысл человеческой деятельности.

Эстетика сохранения природы

Если не считать любви и войны, мало найдется занятий, которым с такой самозабвенностью предавались бы настолько разные люди, подчиняясь столь парадоксальной смеси алчных желаний и альтруизма, как занятия, связанные с отдыхом на лоне природы. Людям полезно общаться с природой — это ни у кого не вызывает возражений. Но в чем заключается польза и как можно обеспечить наилучшее ее достижение? Ответы на эти вопросы весьма противоречивы, и от сомнений свободны лишь самые некритичные умы.

Отдых на лоне природы превратился в проблему в начале века, когда железные дороги, изгнавшие эту природу из городов, начали массами доставлять горожан на ее лоно. Вскоре стало ясно, что, чем больше желающих приобщиться к ней, тем меньше

приходящийся на душу рацион безмятежного покоя, безлюдия, диких животных и красивых пейзажей.

Автомобиль распространил это прежде не слишком опасное и местное явление повсюду, где есть сносные шоссе, — и глушь лишилась того, чем была богата еще недавно. А это толкает на новые поиски. По пятницам из каждого города во все стороны уносятся орды отдыхающих. Туристическая промышленность гарантирует постель и стол, чтобы новые орды устремлялись все быстрее и все дальше. Рекламы на скалах и над ручьями объясняют всем и каждому, где найти новые уединенные уголки, пейзажи, охотничьи угодья и рыбные озера взамен тех, которые уже заполонила толпа отдыхающих. Бюро строят дороги через новую нетронутую глушь, а затем скупают новые участки глуши, так как новые дороги означают новое нашествие. Промышленность выпускает все новые и новые приспособления, спасающие от шишек при соприкосновении с неприрученной природой, и жизнь в дикой глуши превращается в игру. И вот теперь венец всех приспособлений — прицепа домик! Для человека, ищущего в лесах и на горах только того, что дают путешествия с удобствами и гольф, нынешнее положение вещей более чем сносно. Но для тех, кому нужно другое, отдых оборачивается мучительным процессом поисков недостижимого, тягостным обманом механизированного общества.

Отступление дикой природы под натиском механизированных туристов — отнюдь не местное явление. Гудзонов залив, Аляска, Мексика, Южная Африка уже рушатся. Очередь за Южной Америкой. *Homo sapiens* больше не ухаживает за своим вертоградом под своей смоковницей, он залил в бензобак неумное стремление бесчисленных существ, которые на протяжении бесчисленных веков жаждали добраться до новых угодий. Он и ему подобные кишат на континентах как муравьи.

Таков новейший образец «отдыха на лоне природы».

А кто отдыхающий и чего он ищет? Достаточно нескольких примеров.

Во-первых, взгляните на любое утиное болото. Вокруг него бампер в бампер стоит застава из автомашин. На каждой кочке в прибрежном тростнике какой-нибудь столп общества держит палец на спусковом крючке автоматического ружья, готовый парушить любые законы общества и общественного блага, лишь бы убить утку. Тот факт, что он уже перекормлен, несколько не умеряет жадного желания вырвать кус мяса и у природы.

В соседнем лесу прогуливается другой столп общества, высматривая редкие папоротники или новых певчих птиц. Его род охоты не часто толкает на кражи и грабеж, и потому он пре-

вирает убийцу уток. Но в юности и он почти наверное грешил тем же.

На курорте поблизости отдыхает еще один любитель природы — из тех, кто пишет на коре деревьев скверные вирши. И повсюду — неспециализированный автомобилист, для которого отдыхать значит накручивать мили: за лето он объехал все национальные парки, а теперь поворачивает на юг и мчится в Мехико.

И наконец, профессионал, который титится с помощью бесчисленных организаций по охране природы дать ее любителям то, чего они хотят, или заставить их хотеть то, что он может им дать.

Почему же столь разнообразные типы объединяются в одну категорию? А потому, что каждый из них по-своему охотник. Но почему каждый называет себя сторонником охраны природы? А потому, что дикие создания, на которых он охотится, ускользнули от него, и он надеется с помощью некромагии законов, субсидий, региональных планов, реорганизации департаментов или иных форм массовых благих пожеланий заставить их вернуться.

Отдых принято рассматривать как экономический ресурс. Сенатские комиссии благоговейно сообщают нам, сколько мп-люпов тратят люди, гоняясь за ним. И экономической стороны отрицать никак нельзя — дачка на рыбном озере или даже кочка на утином болоте могут стоить столько же, сколько вся соседняя ферма.

Существует и этическая сторона. В толчес схватки за нетронутые места вырабатываются свои кодексы и заповеди. Нам толкуют о том, «как вести себя на природе». Мы прививаем какие-то взгляды молодежи. Мы печатаем определение «Что такое истинный любитель спортивного отдыха?» и вешаем экземпляр на стенке всякого, кто готов заплатить доллар за распространение веры.

Тем не менее ясно, что такие экономические и этические проявления — лишь следствия мотивации, а не породившие ее причины. Мы ищем соприкосновения с природой, потому что оно доставляет нам удовольствие. Как в опере, экономические механизмы используются для того, чтобы создавать и поддерживать необходимые условия. Как в опере, профессионалы зарабатывают на жизнь, создавая и поддерживая их, но было бы неверно утверждать, будто сама причина существования оперы носит экономический характер. Охотник на уток в укрытии и оперный певец на сцене, несмотря на различия в экипировке, делают одно и то же. Каждый играет, воскрешая драму из реальной жизни прошлого. В конечном счете оба предаются эстетическим упражнениям.

Отношение общества к отдыху на природе весьма противоречиво. Равно серьезные люди придерживаются прямо противополо-

ложных взглядов на то, в чем он заключается и что следует предпринять для сохранения возможности такого отдыха. Так, общество защиты дикой природы добивается запрещения проводить шоссе в лесной глуши, а торговая палата стремится их строить — причем и то и другое делается во имя отдыха на природе. Егерь убивает ястребов, чтобы уберечь от них дичь, любитель птиц защищает их — один ради охоты с дробовиком, другой ради охоты с бипоклем. Подобные противники не жалеют друг для друга кратких и выразительных эпитетов, но в действительности каждый заботится о каком-то компоненте одного процесса — процесса отдыха. Только эти компоненты заметно отличаются по своему характеру и свойствам. Каждая данная программа может способствовать одному и вредить другому.

По-видимому, пора разделить эти компоненты и рассмотреть свойства каждого в отдельности.

Начнем с самого простого и очевидного — с того, что любитель отдыха на природе может искать, находить, добывать и увозить с собой. В эту категорию входят непосредственно добыча, вроде дичи или рыбы, и еще символы, знаки победы, такие, как головы, шкуры, фотографии и коллекции.

Все это охватывается идеей трофея. Удовольствие от такой добычи заключается (или должно заключаться) не только в обретенном, но и в поисках. Трофеем — будь то птичье яйцо, крупная форель, корзина грибов, фотография медведя, засушенный цветок или записка, засунутая в расселину горного пика, — это свидетельство. Оно подтверждает, что его владелец побывал там-то и сделал то-то, что он проявил сноровку, настойчивость или способность в вековой задаче взять верх, перехитрить или завладеть. Эти ассоциации, связанные с трофеем, обычно намного превосходят его материальную ценность.

Однако массовая погоня за трофеями влияет на их притягательность по-разному. Количество дичи и рыбы с помощью искусственного разведения и охраны можно увеличить в такой степени, что на каждого охотника ее придется больше или же больше охотников получат прежнее количество. В последнее десятилетие появилась новая профессия — охотовед. Десятки университетов преподают методы ведения охотничьего хозяйства, ведут научные исследования, чтобы получать дичи «больше и лучше». Однако такое ускоренное повышение «урожайности» подчинено закону снижения возвратных поступлений. Слишком интенсивное управление дичью или рыбой снижает ценность каждого отдельного трофея, делая его в какой-то мере искусственным.

Взять, например, форель, выращенную в садке и только что выпущенную в обезрыбленный ручей. Естественным образом



форель в этом ручье размножаться не может. Его воды либо загрязнены промышленными отходами, либо перегреты и мутны, потому что лес по берегам сведен и они истоптаны скотом. Разве можно считать, что эта форель ни в чем не уступает рыбе, которую вы поймали в ее родном чистом ручье в Скалистых горах? Эстетические ассоциации такой форели заметно беднее, пусть даже ее поимка требовала большой сноровки. (По утверждению одного специалиста, печень вскормленной в садке форели настолько испорчена, что обрекает ее на преждевременную смерть.) Тем не менее несколько обезрыбленных штатов теперь почти полностью рассчитывают на эту возрожденную человеком форель.

Искусственность бывает разная, но с ростом массовости методы сохранения дикой природы начинают все больше опираться именно на искусственность и ценность трофеев снижается.

Ради безопасности этой дорогой, искусственной и весьма беспомощной форели Комиссия по охране природы считает себя в праве уничтожать всех цапель и крачек, навещающих садок, где ее выращивают, и всех крохалей и всех выдр, обитающих у ручья, куда ее выпускают. Рыболова, быть может, и не огорчает, что одни дикие создания приносятся в жертву ради других, по орнитологу готов от злости грызть не только собственные погги, но и чужие глотки. По сути, искусственное зарыбление ставит рыболовство в привилегированное положение за счет других и, может быть, более высоких форм активного отдыха. Оно выплачивает дивиденды одному любителю, хотя акции принадлежат всем. Такого же рода биологические махинации практикуются и в охотничьих хозяйствах. В Европе, где статистические данные об упорядоченной охоте охватывают длительные сроки, известен даже «курс обмена» дичи на хищников. Так, в Саксонии на каждые семь добытых промысловых птиц отстреливается один ястреб и один какой-нибудь хищник на каждые три головы мелкой дичи.

Искусственное разведение дичи, как правило, наносит ущерб растительности — например, олени портят леса. Это наблюдалось на северо-востоке Пенсильвании, на плато Кайбаб и в десятках других областей, судьба которых не получила столь громкой огласки. В каждом случае размножившиеся олени, которым уже не грозили их естественные враги, полностью уничтожали свои обычные кормовые растения. Бук, клен, тис в Европе, канадский тис и восточная туя в восточных штатах США, желтая береза и армерия на Западе — все это олений корм, который грозит уничтожить искусственно разводимые олени. Состав лесной флоры, начиная от цветов и кончая деревьями, постепенно беднеет, и олени в свою очередь хиреют от педоедания. В современных лесах уже нет великанов, рога которых украшали стены феодальных замков.

Расти деревьям на английских вересковых пустошах мешают кролики, чьи естественные враги истребляются, поскольку они угрожают также фазанам и куропаткам. На десятках тропических островов и флора и фауна были уничтожены козами, которых ввозили туда ради мяса и как дичь для спортивной охоты. Невозможно представить себе ущерб, который причиняют друг другу млекопитающие, лишенные естественных врагов, и бывшие пастбища, лишённые ископных кормовых растений. Сельскохозяйственные культуры, оказавшиеся между этими двумя жерновами экономических просчетов, удается спасти только с помощью бесконечных компенсаций и колючей проволоки.

Итак, обобщая, можно сказать, что массовое использование дикой природы снижает качество таких трофеев, как дичь и рыба,



а также вредит другим ресурсам — например, непромысловым животным, ископной растительности и сельскохозяйственным культурам.

Добывание «косвенных» трофеев, вроде фотографий, не сопряжено со снижением качества и причинением вреда. Красивый пейзаж, ежедневно запечатляемый десятком туристских фотокамер, в общем никакого физического ущерба от этого не несет, как не пострадает он, даже если его щелкнут сотни раз. Производство фотоаппаратов принадлежит к немногим безобидным отраслям промышленности, паразитирующим на дикой природе.

Таким образом, воздействие массового использования может быть столь же принципиально различным, как и две категории объектов, которые добываются в качестве трофеев.

Теперь рассмотрим еще один компонент активного отдыха, более тонкий и сложный, — ощущение уединенности среди природы. О том, что оно приобретает ценность дефицита, весьма высокую для некоторых людей, свидетельствует спор, ведущийся из-за дикой природы. Необжитую глушь официально определяет бездорожье, и шоссе проводится только до ее границ. А потому участки такой глуши рекламируются, как нечто уникальное, и они действительно уникальны. Но вскоре все тропы уже забиты, растут требования установить воздушное сообщение, а может быть, неожиданный пожар заставляет расчистить участок пополам дорогой для подъезда пожарных. Или же из-за наплыва туристов,

вызванного рекламой, проводники и владельцы вьючных лошадей взвинчивают цены, после чего кто-то приходит к выводу, что сохранение первоначальной глуши недемократично. Или же местная торговая палата, вначале не освоившаяся с такой повинкой, как лесная глушь с официальным ярлычком «дикая», распределяет вкус туристских денег и возжелает их побольше. Тут уж ей будет не до глуши. Джип и самолет — порождения все парастающего напора людской массы — положат конец всякой надежде на уединенность среди природы.

Короче говоря, именно редкость дикой глуши в сочетании с рекламой и предприимчивостью сводит на нет все усилия помешать ей стать еще большей редкостью.

И без дальнейших объяснений ясно, что массовое использование кладет конец уединенности, и когда мы говорим о шоссе, туристических лагерях, тропах и санитарных удобствах как о «развитии» возможностей для отдыха, мы лжем, если имеем в виду этот компонент. Подобные удобства для толпы ничего не развивают — в том смысле, что они ничего не добавляют и не создают. Наоборот, все это вода, которую льют и в без того уже жидкий суп.

Теперь сопоставим с компонентом уединенности другой компонент, очень простой и четкий, который назовем «чистым воздухом и переменной обстановкой». Массовое использование не уничтожает и не снижает его ценности. Тысячный турист, звякающий калиткой национального парка, вдыхает примерно тот же воздух, что и первый. Как и первый, он оказывается в мире, несколько не похожем на привычный мир контор. Пожалуй даже, столь дружное вторжение в мир природы усиливает контраст. Следовательно, можно сказать, что компонент свежего воздуха и перемены обстановки, как и фотографическая охота за трофеями, без ущерба выдерживает массовое использование.

Но перейдем к следующему компоненту — восприятию естественных процессов, благодаря которым земля и все живое на ней обрели свои особые формы (эволюция), а также поддерживают свое существование (экология). Так называемое «наблюдение природы» вопреки мурашкам, которые тут же начинают ползать по спинам избранных, представляет собой первые робкие попытки массового сознания обрести такое восприятие.

Главное свойство восприятия заключается в том, что оно не сопряжено ни с потреблением, ни со снижением ценности каких бы то ни было ресурсов. Стремительное падение сокола на добычу, например, один человек воспринимает как драму эволюции, а другой видит в нем просто угрозу своему ужиному. Драма может снова и снова волновать еще тысячи зрителей, а угроза взволнует

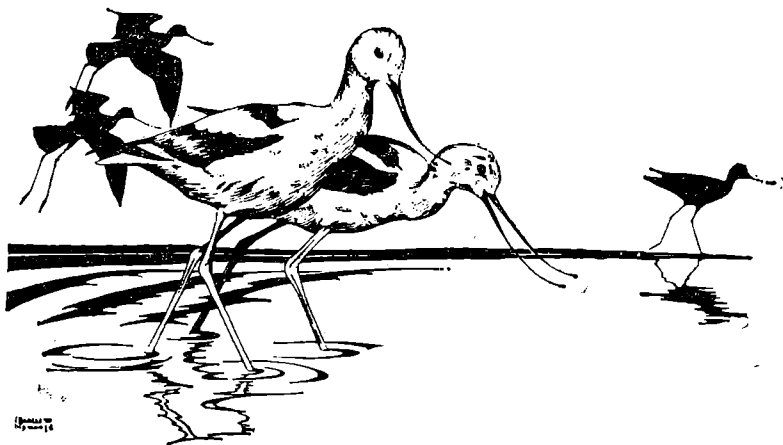
одного-единственного, потому что он тут же схватится за дробовик.

Развитие восприятия — вот единственная истинно творческая сторона обеспечения отдыха на природе.

Этот факт очень важен, а его потенциальные возможности для улучшения «хорошей жизни» пока еще мало кому ясны. Когда Дэниел Бун впервые вступил в леса и прерии «темной, напоенной кровью земли», он превратил в свою собственность чистейшую суть американской природы. Сам он таких слов не употреблял, но он обрел то, что теперь ищем мы, а дело ведь в явлении, а не в его наименовании.

Отдых, однако, — это не сама природа, а наша реакция на нее. Реакция Дэниела Буна зависела не только от свойств того, что он видел, но и от свойств мысленного взора, каким он это видел. Экологическая наука изменила свойства мысленного взора. Она открыла происхождение и функции того, что Бун воспринимал только как факты. Она открыла механизмы того, что Бун воспринимал только как свойства. У нас нет мерки для такого изменения, но можно твердо сказать, что по сравнению с современным экологом Бун видел только внешность вещей. Невероятная сложность сообщества растений и животных, врожденная красота организма, называемого Америкой, которая была тогда в полном цвету своей юности, оставалась для Буна столь же невидимой и непонятной, как для нынешнего преуспевающего дельца. Понастоящему развивать американские ресурсы для активного отдыха на лоне природы — значит развивать у американцев восприятие. А все остальные действия, которые мы именуем развитием активного отдыха на лоне природы, в лучшем случае сводятся к попыткам замедлить или замаскировать процесс снижения ценности.

Однако не нужно торопиться с выводом, будто преуспевающий делец должен получить университетский диплом, чтобы научиться «видеть» свою страну. Наоборот, дипломированный биолог может относиться к таинствам, с которыми он соприкасается, столь же равнодушно, как гробовщик. Подобно всем истинным сокровищам духа, восприятие может раздробиться на мельчайшие частицы, не став ни на йоту хуже. Бурьян на городском пустыре учит тому же, что и дремучий лес. Фермер может увидеть на своем пастбище то, в чем будет отказано ученому, странствующему по Южным морям. Короче говоря, восприятие нельзя купить ни за ученый диплом, ни за доллары. Оно развивается дома точно так же, как за границей, и тот, у кого возможности невелики, может распорядиться ими несколько не хуже того, чьи возмож-



ности больше. Для восприятия природы вакханалия активного отдыха и бессмысленна и не нужна.

И наконец, пятый компонент — ощущение деятельного соприкосновения с землей. Оно незнакомо тем, кто лишь голосует за сохранение природы, но не способствует ему трудами своих рук. Оно возникает, только когда человек, наделенный восприятием, применяет свое умение для блага земли. Другими словами, оно доступно только землевладельцам, слишком бедным, чтобы покупать себе отдых на лоне природы, а также заботящимся о земле профессионалам с острым зрением и экологическим мышлением. Турист, покупающий доступ к красотам природы, ничего подобного не знает, как и охотник, нанимающий себе в егеря государство или какого-нибудь профессионала. Государство, которое заменяет частное управление землей, предназначенной для активного отдыха, общественным, само того не зная, отдает своим служащим львиную долю того, что предназначалось для всех его граждан. Мы, лесничие и охотоведы, по логике вещей должны были бы сами платить, а не получать плату за вмененное нам в обязанность деятельное соприкосновение с дикой природой.

В сельском хозяйстве до некоторой степени признается, что ощущение деятельного соприкосновения с землей в процессе выращивания урожая может быть не менее важным, чем сам урожай. Сказать то же об охране природы никак нельзя. Американские охотники-спортсмены без всякого уважения относятся к интенсивному разведению дичи на шотландских вересковых пустошах и в центральноевропейских лесах. И в чем-то они правы. Однако они совершенно не припевают во внимание ощущение деятель-

ного соприкосновения с природой, которое европейский землевладелец получает, разводя дичь. Этого у нас пока нет, а это очень важно. Когда мы соблазняем фермера субсидиями, чтобы он посадил лес или развел дичь, мы тем самым признаем, что радости деятельного соприкосновения с дикой природой еще не известны ни фермеру, ни нам самим.

В науке существует формула: онтогенез повторяет филогенез. Другими словами, развитие каждого индивида повторяет эволюционную историю всего рода человеческого. Это верно в отношении не только физического, но и духовного развития. Охотник за трофеями — это возродившийся пещерный человек. Охота за трофеями — это прерогатива юности, как родовой, так и личной, и не требует оправданий.

Тревогу внушает тот современный охотник за трофеями, который так и не взрослеет, у которого потребность в уединенности, восприятию или деятельном соприкосновении с природой так и не развилась, а может быть, утратилась. Это моторизованный муравей. Вместе с себе подобными он кишит на континентах, не научившись видеть собственный задний двор, и потребляет дары природы, ничего не создавая взамен. Это ради него организаторы активного отдыха обесценивают глушь и готовят искусственные трофеи в глубоком заблуждении, будто этим они оказывают услугу обществу.

Любитель трофеев из-за определенных своих особенностей рубит сук, на котором сидит. Чтобы получать радость, он должен владеть, вторгаться, хватать. А потому нетронутая глушь, которую он сам увидеть не может, не имеет для него никакой ценности. Отсюда возникает весьма распространенное убеждение, будто нетронутая глушь ничего не дает обществу. Для людей, лишенных воображения, белое пятно на карте знаменует бессмысленное расточительство, хотя для других оно обозначает высшие ценности. (Неужели Аляска ничего для меня не значит из-за того, что я никогда туда не поеду? Неужели мне нужны шоссе, чтобы узнать арктическую тундру, гусиные угодья на Юконе, кодыякского медведя, пастбища снежных баранов на Мак-Кинли?)

Короче говоря, примитивные формы активного отдыха на природе пожирают собственную базу, тогда как высшие формы хотя бы в некоторой степени обеспечивают удовлетворение почти или вовсе без вреда для земли и жизни. Развитие транспортных средств без соответствующего развития восприятия грозит нам качественным банкротством активного отдыха на природе. И развивать возможности такого отдыха нужно, не исчерчивая дорогами прекрасный край, а пробуждая восприятие в пока еще далеко не прекрасном человеческом сознании.

Олдо
Леопольд

КАЛЕНДАРЬ
ПЕСЧАНОГО
ГРАФСТВА

Научный редактор Р. В. Дубровская
Младший научный редактор М. А. Харузина
Художественный редактор Л. Е. Безручников
Технический редактор Л. П. Бирюкова
Корректор К. Л. Водяницкая

ИБ № 2379

Сдано в набор 26.11.79.
Подписано к печати 25.01.80.
Формат 60×84¹/₁₆
Бумага типографская № 2.
Гарнитура обыкновенная. Печать высокая.
Объем 6,75 бум. л. Усл. печ. л. 12,56
Уч.-изд. л. 12,74. Изд. № 12/0921
Тираж 75 000 экз. Зак. 897. Цена 1 р. 30 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»

Москва, 1-й Рижский пер., 2.

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового
Красного Знамени Первая Образцовая типография имени
А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государствен-
ном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28.

1 p. 30 k.

